

юрий кублановский
и збраное



Юрий Кублановский и збрaнное

АРДИС

Yuri Kublanovskii, IZBRANNOE
Copyright ©1981 by Ardis

I

1967 – 1971

НЕБЕСНАЯ ПРОГУЛКА

х х х

I

Прощай, дорогая, настала пора расставанья,
зеленых разводов лепнинны вокруг потолка,
душ неискушенных, неутоленных желаний
и розовых пятен на пальцах цветного мелка.

В своем забытии я всегда тебя помнил такою:
из черного сада под горку скользила тропа
к апрельскому льду, проплывавшему по-над рекою,
и падала нежно на нас соляная крупа.

...В мещанском квартале вечерних домов деревянных
доныне гуляют в прохладном покое удач
два голубя тучных, бродяжка с сергой оловянной,
с растительным маслом в прическе проезжий силач.

II

Ты слышишь,
ты слышишь — то нас призывают с тобою.
Свое промолчала ты, я свое отголосил.
Чуть радужит воздух над коркою берестяною,
плывет, медовеет в расщелинах бурых осин.

В апрельских ветрах мы на днях растворимся с тобою,
когда забулдыга на вешнее солнце кривясь,
надснежную влагу с тропы загребая полою,
проглотит слону и почует в себе ипостась.

Да, мы отлучимся, но после свое наверстаем,
неся над землею в ответ шелестящую весть:
ограбленный дед мой в снегах ярославских окраин
простили и дозволил всей живности снова расцвести.

1967, 1979

ДАФНИС И ХЛОЯ

x x x

Вчера ты мылся у ручья
длинноволосый, словно дева.
До этих пор была ничья.
Теперь, как пашня — для посева.

Вокруг шевелятся листы,
трава к ручью бежит купаться.
Мои желания просты —
Прильнуть и впредь не расставаться.

Ты можешь видеть муравья,
его друзей возню и смуту,
а я могу одно — твоя!
не забывать ни на минуту.

И ничего на свете нет,
что отвлечет меня от дела
все время быть твоей — и бред
иная жизнь... иное тело...

x x x

Львинолицый Зевс-отец!
Черноту людских сердец
беззастенчиво нагих
ты направь для дел благих.

Мир вчера ушел ко сну.
Веря этому мгновенью,
я прикрыл свою жену
золотой опавшей сенью.

Но не слышен трубный глас,
не сложились в небе буквы,
лишь с земли глядят на нас
кровяные глазки клюквы.

Что нам делать? Как нам быть?
Тишине уже не внимлю.
Или нам руками рыть
эту илистую землю?

Или спать мертвецким сном
посреди лесной полянки?
Иль цедить ленивым ртом
молочко змеиной ранки?

Мы не можем долго жить,
зной об этом, Бог могучий,
торопись – готов служить
я звезде Твоей колючей.

х х х

Все твердью полнится – но все живет водой.
Возьмем, к примеру, хлеб позавчерашний
размочен ныне козьим молоком,
пусть не парным, но все-таки желанным.

Жизнь пастуха зимою не сложна –
нельзя считать за труд душевную тревогу,
что скрашивает будничную жизнь,
с любимой многодневную разлуку
и зимние горячечные сны.

...Стараюсь больше не глядеть в окно.
В бредок расплывчатый проникнуть ты сумела.
Все твердью полнится – вселенная и тело,
без ласки одичавшее давно.

х х х

Лоб собрав в морщины важные,
труд в саду весной немал,
он граблями листья влажные
в кучу черную сгребал.

Замечал останки прежнего
и побеги новых трав,
и от их сияния нежного
горло стягивал удав.

Тени облака минутные,
кои ветер раскачал,
и цвета природы смутные
он невольно различал.

Тяжело ожить, опомниться,
в кудри вставить гребешок,
только новой розой полнится
прошлогодний корешок!

И собравшись с волей, силами,
чтоб былое с новым слить,
он принес ведро с белилами,
начал яблони белить.

х х х

Последняя звезда в зените побледнела.

Окрест становится светлей.
Но чтобы в небесах не чувствовать пробела,
родная, даже днем не забывай о ней.

Поскольку этот мир еще имеет силу
внушать людским сердцам желание свое,
мы будем жить, любить, заглядывать в могилу,
отшатываться вновь от холода ее.

И все, что нам дано — дано не слишком много,
давай нести в груди, хоть наша грудь слаба.

Иначе зарастет любой любви дорога,
и вымрет, как селение, судьба.

И если сознавать даримое богатство
не изредка, не вскользь, а каждый миг и час,
наверное тогда и впрямь наступит братство
уже минувшего и чаемого — в нас.

СЕМИДЕСЯТОЕ ВРЕМЯ

МАРИ

I

Мари! припомни — шумный сад
и монастырская ограда...
Я указал тебе на клад,
зарытый в бурой толще сада.

Вот здесь лежит стальной булат
и чаша, чей рисунок тонок —
я говорил тебе, как брат,
а ты смеялась, как ребенок.

Глядела на сентябрьских птиц,
что жгут привалы на опушках...
Вот здесь лежит ярмо цариц,
задущенных в глухих подушках.

II

.....
Мари! Иди сюда скорей,
к чему загадывать ромашку?
Вот здесь зарезан князь Андрей,
а там опричник мял монашку.

Для нас с тобою до зари
кровищу соскребали с пола.
И тянет сыростью, Мари,
из тьмы полуночного дала.

сентябрь 1969, Богоявленово

БРАТЬЯ

В осеннюю пору меж рябин и ям
Василий на трапезу едет к братьям.
Вороны на сучьях корявых кричат.
Каурые кони глазами косят,
когда им впивается в гривы репей.
И в воздухе тает косяк журавлей.

...Встречают Васька́ Святополк и Давид,
проводят в хоромы, и стол там накрыт:
заздравные чаши, пахучая снедь,
стерлядка и лебедь, олень и медведь,
болотная ягода с красным огнем
и сахарным яблочком с темным зерном.
Медовая водка течет по усам,
подобно лисе по дремучим лесам.

Василий с дороги хмелеет чуток.
Тут бьет по плечу его старший браток:
— Не хочешь ли, друже, ты в баньку сходить,
крутым кипяточком плеча окатить,
березкой подраться? — сказал и умолк,
поднялся и вышел за дверь Святополк.

Вдвоем остаются Василь и Давид,
который, пригубя вина, говорит,
атласным платком вытирая роток:
— Чего-то замешкался с банькой браток,
набрал во служенье сонливых тетерь...
И вслед Святополку выходит за дверь.

Вбегает тут в горницу дюжих ребят
орава — к нему — наседая, сопят
и руки выкручивают, а один
тесак достает из льняных мешковин.
Тут понял Василий, и взвился, и сгреб,
и крикнул по-страшному:
— Мать вашу еб!
Да что же вы, черти, взбесились совсем?
А я ваши хлебы поганые ем.

Но новые люди ввалились гурьбой,
свалили его, придавили доской.
Василий лежит неподвижно, умолк —
спасибо, Давидка и брат Святополк!

Подходит детина, в глазах с петухом,
на грудь Василька он садится верхом,
откинув прилипшие кудри рукой,
он тычет ножом его в глаз и в другой.
И брызнули жаркие очи на тех,
кто только что на душу приняли грех.
Мешаясь с кровищей, текут вдоль лица
вчера — молодца, а теперь — мертвеца.

...Выносят Василия тело за дверь.
Оно громыхает в телеге теперь.
Вороны на сучьях корявых кричат.
Каурые кони глазами косят,
ужасную ношу меж рытвин таша.
И солнце сквозь ветви летит, как праща.

Вдруг стали, хрипя, как над бездной крутой.
И сделав водицы глоток лубяной,
воскрес ли, очнулся ль Василий во тьме,
да, видно, слегка повредился в уме.

Вдруг слышит откуда невесть шепоток:
— Да кто ж тебя так изувечил, сынок?
Пустуют глазницы, разбиты уста,
и нет на ограбленной шее креста.
Василий едва языком шевелит:
— Где я? Кто со мною теперь говорит?
— Воздвиженск за горкой, соколик слепой,
бреду я с вечерни оттуда домой.
— А что предо мною? — Убогая жись.
— А что надо мною? — Господняя высь.

Зачем я не умер? — Василий бубнит,
в разбитой телеге до утра сидит.

1969

ОСЕНЬ
триптих

I

Сонная жизнь встрепенулась,
в дальнюю даль понеслась...
Только бы не оглянулась!
Только бы не обожглась!

Осточертели державы
сила, бессилье и срам.
Ветрены и моложавы
ветви дерев по утрам.

Что ж, улетай, дорогая,
буду один прозябать,
бодрствуя, оберегая
бывшую здесь благодать.

II

Вчера мы встретились с тобой,
и ты жестоко попрекала,
и воздух темно-голубой
разгоряченным ртом глотала.

Вдали блестел октябрьский клен,
ты вынимала сигарету,
а я был чужд и невлюблен,
и вовсе не готов к ответу.

К чему упреки и слова,
чей смысл доподлинно не знаешь?
Поверь, кусты и дерева
не ты огнем воспламеняешь.

III

Ты мне почти что не страшна.
Твои упреки не смертельны.
Ты ходишь с крестиком нательным
и думаешь, что не грешна?

Когда мы в гору забрались,
хаос московский увидали,
ты говорила, что сожглись
мосты, что нас соединяли.

Скользящие под пленкой льда,
тропинки с золоченой стружкой...
И настоящая вражда
в зрачке мелькнула рысью дужкой.

1969, октябрь

ЦИРК

Клоун ногой загребает опилки,
чем вызывает смешки и ухмылки.
Канатаходец идет бечевой,
крепко от жизни устав кочевой.

В ветхом брезенте залатана дырка —
вот атрибуты проезжего цирка.
Я его в детстве с отцом посещал.
Цирк переехал, а я обнищал.

В пятидесятые жалкие годы
он нам показывал фокус свободы.
Рядом топоршились брючины-клеш
и прикрывающий их макинтош.

Только теперь понимаю глубоко,
как было сиро тогда и убого:
публика, купол, брезентовый гул...

Я свою жизнь пополам перегнул.

1969

ОКТЯБРЬ

Дворы безлюдные. Замшелые дрова.
Лицо и руки вымочила морось.
Окрестный лес блестит, как конский волос.
Болотная поломана трава.

Приятель мой в тяжелых сапогах
с этюдником в руке по грязи скачет.
И церковь разоренная маячит,
чуть видимая в четырех шагах.

Сельхозмашины остов голубой
навстречу людям выгибает шею.
Ты зябнешь, друг. Я тоже холдею.
И одиночеством насытился любой.

Лесной мираж напоминает быль,
когда по ватману плывут, щетинясь, ели.
Как утешают нас размывы акварели
плюс два стаканчика и красного бутыль!

ВАКХИЧЕСКИЕ МОТИВЫ

A. B.

I

Как я люблю нашу горькую жизнь!
Пьяных друзей словословья и крики!
Сашка, свечу к сигарете приблизь –
пусть по щекам твоим прыгают блики.
Как я люблю две морщины у губ!
Как я люблю твой оскал и ухмылку,
и на глаза ниспадающий чуб...
Дай-ка подводного цвета бутылку!
Я с нее ногтем сдеру серебро.
Выпьем с тобою за нашу свободу,
что не кривлялись сатрапам в угоду,
мир не делили на contra и pro.

Выпьем за женщин, что преданы нам.
Выпьем за их непорочные души.
Выпьем за Родины нашей бедлам.
Выпьем за крик замогильной кликуши
Свечку на миг к сигарете приблизь,
всполох огня на лице шевелится...
Как я люблю эту горькую жизнь!
Как хорошо с Александром напиться!

II

Ах, не ахти, не ахти, что за диво
та ламотца животворная с пива
в кружке тяжелой, с пеной седой,
с сушкой соленой, с воблой сухой.
Как хорошо после ночи безумной
снова придти с головою бездумной
в эту пивнушку, где блещет стекло,
где уже столько часов протекло.
В этих отечных фигурах и лицах,
коими славится наша столица, —
не покоробит вас правда сия
— есть красота и идея своя!
Пусть наша жизнь и темна и бесправна,
но погляди на пузатого фавна:
три подбородка... четыре руки...
Как его мысли от нас далеки!

III

Любых времен любая быль —
все в этом мире тлен и гиль.
Одна оправданная страсть —
от белой водки на земь пасть.
Как хорошо, похерив лоск,
коситься на пугливый воск,
тускло светящийся в тиши
во здравие твоей души.
Кому ты нужен, старый плут?
Ан нет, дружки тебя найдут,

пригладят космы гребешком,
напоют ледяным пивком...
По шатким улочкам кривым,
подняв воротники, спешим.
Один горит. Другой продрог.
Кого позвать — рассудит Бог.

1969, осень

х х х

Славянизмы, звуки и красоты
позабудь, лирический поэт.
Есть иные образы и ноты,
а того, чего взыскуешь — нет.

Наша правда не в высоком слоге,
не в согласии наши голоса.
Знать, не даром мечены в итоге
все твои крестами адреса.

И с морозца пальцами кривыми
прикурить стараясь от свечи,
с прокаженными вяжись, поэт, с чумными,
дни свои в беспамятстве влачи.

Мы не так бездомны и убоги,
нам еще до смерти далеко.
Мы еще не думали о Боге
— как Его владенье велико.

1969

ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ ПРОВЕЛ В ГУЛЬБЕ..

Вчерашний день провел в гульбе.
Зато наутро жизни бренной
я сразу вспомнил о тебе —
прекрасной и слегка растленной.

Я вспомнил черный шип сучка,
взор изумленный встречной бабки
и твоего воротничка
слегка завязанные лапки.

Зачем ты красила глаза?
Зачем много ты курила?
Зачем горячая слеза
твою щеку оледенила?

Твоих движений вспомнил пыл,
твою к животным малым жалость...
Давно все это разлюбил,
а вот сегодня сердце сжалось.

1969

УТРО

Когда Москва еще пуста
и холодны ее уста,
когда закрыт Тишинский рынок
(гора грузинских мандаринок,
гнильца капустного листа),
и наша улица, поката и чиста,
ославиться шагами не успела,
и нечего дурного не созрело
в душе объятых полусном людей,
и кто-нибудь целует неумело
лицо случайной спутницы своей
(по пьяной лавочке поехать захотела
и стала в эту ночь ему всего родней),

как хорошо брести сегодня поутру,
где в скором времени, что им не по нутру,
потянутся мужчины на заводы,
а наш беспечный баловень свободы
окажется в Серебряном Бору,
где отдают пивком сосновые породы,
где первой юности упущенные годы...
Свое похмелье на чужом пиру!

1969

ПОТЕМКИН, ЗУБОВ И ОРЛОВ...

I

Потемкин, Зубов и Орлов —
екатерининских орлов
блестящая плеяда —
намека ждут и взгляда.

Кого в сегодняшнюю ночь
она прижать была б не прочь
сквозь потайную дверцу
к жиреющему сердцу?

За шаткой ширмой будет он
шуршать шелками панталон,
и матушка царица
завоет, как волчица.

А где-то комнат через пять
старик Вольтер ложится спать,
не помолившись Богу...
Все гаснет понемногу.

II

Князь Потемкин утром, встав с кровати,
у окошка молвил:
— Глянь-ка, Катя,
как прекрасен зимний город твой —
залотится воздух над Невой,
Петропавловка в тумане розовеет,
на приколе яхта индевеет,
и пунцов усатый часовой.

Ждет твоей молитвы Небожитель,
ждет письма с подарком просветитель,
не пора ли, матушка, вставать?
Засветло грешно озоровать.

— Ах, не надо, Гриша, помолчи.

Темные подушки горячи.
Без тяжелых буклей побеленных
лысоваты головы влюбленных.

III

Орлов, красавец и нахал.
Его в Неаполе видали.
Он Тараканову украл.
Они друг другом обладали.

В глубокой качке корабля
княжна к Орлову прижималась.
А петербургская земля
неотвратимо приближалась.

...Когда огонь сторожевой
проплыл отметиной Кронштадта,
кондовый проводил конвой
мадмуазель до каземата.

Теперь княжна обречена,
хотя от млеча ломит груди...
Вот так в былье времена
штутили пламенные люди!

IV

Гвардейская акула,
кососаженный хват,
приказом караула
в опочивальню взят

на царственную мушку.
Всходя на бастион,
державную старушку
потешь, понежь, Платон.

Пока душок шалфея
ты ловишь крепким ртом,
вся матушка Рассея
у вас под каблуком.

Уж лучше это свинство,
да водка, да балык,
чем кровь и якобинство
парижских прощелыг!

1969, 1979

x x x

Памяти Светланы Б-вой

Крыжовника кленовые листочки
красны и серебристы от дождя.
Мне видится открытая вражда
в твоей любви, лишенной оболочки.

В своем дому на кожаный лежак
приляжет барин, молодой и плотный.
Не заблудись в кистях рябины черноплодной,
когда тебе я больше не вожак!

Не забреди в соседские края,
сентябрьских роз еще остры колючки...
Как холодны твои лицо и ручки,
крестьянка родовитая моя!

1970

x x x

Бабье лето за оградой,
легкий облачка мазок.
К дому с ветхой колоннадой
подкатил, гремя, возок.

Ловко спрыгнув с колымаги,
секретарь небесных сфер
жжет до вечера бумаги,
в щепки рубит секретер.

Идут дни. Убрали нивы.
И воспламенился лес.
Жги и ты свои архивы,
пей наливку, ешь дюшес.

Одиночеством прогулки
старых ран не береди,
вскрой ножом свои шкатулки,
вновь в окошко погляди...

Дневники былого лета,
прах ириса голубой,
истлевая, встретят где-то
листопада дым парной...

1970

СТРАШНЫЙ СОН

Скинув мокрые опорки,
я совсем ослаб.
Задремал в своей каморке
и во сне озяб.

Снится мне большая шуба,
духота под ней,
вечер, вылепленный грубо,
очажки свечей.

Образа в углу. Скамейки.
Слезы на лице.
Богоматерь в кацавейке,
Иисус в венце.

Человек мой сбежал в баньку
и решил залечь
повалить немножко ваньку
на большую печь.

Сунул хлеб за голенище,
глотанул вина.
За окном ночьная тьмища,
звездочка одна.

.....

Неожиданно вбегают
в избу мужички,
прямо под руки хватают,
чувствую тычки.

Колюпанов и Асташков —
вот фамилии их!
Оба в ситцевых рубашках
и портах льняных.

Тащат в сени, трали-вали,
после на крыльцо.
Быют по шее и едва ли
не пллюют в лицо.

Перебрал сегодня лишку
— говорят — кажется,
захмелел чуток братишка,
выспись, пропрэзвись.

И лежу я мордой в снеге
глух уже и нем...
А потом меня в телеге
увезли совсем.

1970

ПЕРВЫЙ СНЕГ В САДАХ ПОД ЛЕНИНГРАДОМ...

I

Первый снег в садах под Ленинградом.
И от черных листопадных куч,
сваченных посеребренным хладом,
как от жертвенников, дым пахуч.

...Классицизма строгие педанты
для царя построили дворец,
где весь день шныряют адъютанты
и инфант родился наконец.

В доме много лживых доброхотов
и фрамуг назойлива метель,
но герой суворовских походов
сам всю ночь качает колыбель.

Помнит дядька о былой отваге,
как лиманский вытоптав песок,
тушу турка удержал на шпаге
и на попе Альпы пересек.

Возвратясь белоголовым с воли,
голубь сел на золотую жердь.
Не жалейте о земной юдоли.
с чистым сердцем ожидайте смерть.

II

Белый вензель над круглым окошком
в виде лент, убегающих вниз.
Воробей, поскакав по дорожкам,
полетел отдохнуть на карниз.

И большие лазурные стены
ограждают пространство дворца,
где ночами волнуются члены
и трепещут от страсти сердца.

Из китайского шелка обои,
ночники из цветного стекла.
Как-то за полночь прямо в покой
к цесаревичу дама пришла.

В гараже отдыхали кареты,
за оконцем мерещится сад,
и искусной работы паркеты
под ногами бесшумно скользят.

Ведь не даром луна понемногу
выступает из туч, хороша.
И слуга подвернул себе ногу,
на призыв колокольца спеша.

III

Опостылело мне в парике и камзоле
чуть не в полдень являться на твой туалет,
все глядеть на лощеные плечи до боли
и сажать в позлащенный резьбой драндулет.

Держит кучер в руках золотые поводья,
но не греет беднягу на вате сафьян.
У твоих покровителей тают угодья,
и волнуются толпы дремучих крестьян.

У меня же — отцовская длинная шпага,
целый ворох рубах домотканых льняных,
и о древности рода с печатью бумага,
и горячее тело кровей голубых.

Вот и хворосту слишком большая вязанка —
я сожгу твои письма и ленточек пук.
Подводите конягу. Прощай, куртизанка!
Ловко вспороты сети любовных наук.

IV

Лучшим людям не чета —
ведь они теперь в опале,

— златотканная тахта
и кусочек льда в бокале.

Крепостной эстет-столяр,
натерев сукном до блеску,
спрятал в кожаный футляр
долото, верней, стамеску.

Есть немало злых примет,
время близится к упадку —
в нашем парке водомет
поливал духами грядку.

Говорят, один барон
и раздетая маркиза
вдруг покинули балкон
и гуляли вдоль карниза.

Ночью выпал первый снег.
Чуя скорую агонию,
плач, негодный человек,
прикрывая срам ладонью!

V

Сколько варьантов упущено мною!
Что же, гуляй на свободе, дитя.
Я твоих взоров невинных не стою.
Желтые листья уснули, летя.

В павловском парке брожу в одиночку.
Павел курносый удушен сынком.
Вижу сквозь тонких ветвей оболочку
желтую арку с лавровым венком.

Рядом ошипанный ворон садится —
птицу убогую тоже знобит.
Осень заставила парк оголиться.
Царские кости зима оголит.

Кровь голубая подернется льдиной,
льдиной все чресла наполнит январь.
Распоряжайся моею судьбиной,
новой зимы молодой Государь.

1970

х х х

Нервы сдали, а глаза
начали слипаться.
Рот, молчи, катись, слеза!
Нам пора расстаться.

Первый день – последний день.
Не воскреснут боле
дровни серых деревень
с мужиком на воле.

Да, в течение веков
мир неодинаков.
Спит в земле и Хомяков,
и Иван Аксаков.

Вся родимая земля
в люльках их качает.
Перелески и поля
первый снег венчает.

...Вот и я к тебе летел,
думал обвенчаться,
тайно поутру хотел
в окна постучаться.

Но завяз в суглинке конь,
засвистел ветрище.
И Небесный сжег огонь
церковь и кладбище.

1969

АННА ПЕТРОВНА...

Анна Петровна... в замужестве Керн,
это исчадие сплетен и скверн,
снова царит, завлекает и манит,
разум волнует и чувственность ранит,
шеей поводит, глазами шаманит...

Как хороша она в этот момент
около спальни в конце анфилады!
К ней приближается дерптский студент.
Все очертанья ампирно покаты.

Анна Петровна... горячей рукой
властно загривок его пригибает.
Губы смыкаются. Свечка мигает.
Скрылись порывисто в спальный покой.

Если не кончить этой строкой,
то ли их в будущем подстерегает?

1969

х х х

Я с другом праздную свиданье
Пушкин

Не смущай напрасно душу,
приходи ко мне.
Поболтаем, выпьем пуншу
мы наедине.
Будем свежие журналы
еле надрезать.
Будем римские анналы
нежно вспоминать.

В нашу следующую встречу
через много лет
прикоснусь — очеловечу
я любой предмет.

Вспомни: вечером туманным
холода лютей,
мы же — грезим о желанном
равенстве людей.
Чтоб внезапно озарилась
скованная мгла.
Вспомни, как несправедливость
наши души жгла!

Вот последнее свиданье —
горне блещет высь.
И входя ко мне, заранье
ты перекрестись.

1970

ПОДВИЖНИК

Зимний день проходит понемногу.
Бледно-желтым маревом горя,
вновь зовет подвижника в дорогу
небосклона мутная заря.

Уж не раз в плаще из мешковины
и подобы кирзовых сапог
он земли горбатые равнины
исходил и вдоль и поперек.

Будь — его просили — нашим крестным,
белый свет нам без тебя не мил!
Но поев картошки с маслом постным,
он вставал и сразу уходил.

Без него дела из рук валились,
не клевал на удочку налим,
наши жены на него молились,
детки наши бегали за ним.

...Ехал я через густой валежник,
обронил потрепанный баул,
наклоняюсь, вижу — наш подвижник
ноженьки босые протянул.

Он лежал на старой желтой хвое
неподвижным тихим мертвцом
и глядел в пространство ледяное
ничего не значащим лицом.

1970

СУМЕРКИ

Морозные листья оканта,
белила в холщевой суме...
Как много ума и таланта
не женского в этой зиме!

Сквозь посвист летучего ветра
ты вслушайся, если не лень,
в псалом, распеваемый Гертой,
которую носит олень.

Он лед выбивает копытом
от снежных вершин до двора,
где бегает с горлом открытым,
играя в хоккей, детвора.

...Садись же, дочурка, в салазки,
тебя покатает отец.
Он знает волшебные сказки
о вечном влечении сердец.

1969

ВЕЛИМИР

Велимир в ру比ще по пылище
пересек за месяц пепелище
дышащей раздорами земли
и стучит в сожженное жилище:
— Эй, хозяин, жажду утоли!

— Кто ты? Кто ты? — слышится оттуда —
может, ты негодный человек,
вдохновитель нынешнего блуда,

пулеметчик бешеных телег?
Может ты и сжег мои чертоги,
пнул дворнягу рваным сапогом,
а меня, как зверя из берлоги,
выкурил немецким табаком?

— О слепец! — пришелец отвечает —
погляди получше на меня.
Так ли равный равного встречает
за порогом прожитого дня?
Я вчера хотел пробраться к туркам,
поглядеть, какой у них халиф,
да меня с тобою-полудурком
уровнял навеки жаркий тиф.

Заварилось праведное дело,
шелушится в небе бирюза.
У меня теперь сухое тело,
легкий шаг, закрытые глаза.

Так не делай жалостливых знаков,
пред тобой не склонит головы
Велимир — наперстник хлебных злаков,
ученик некошеной травы.

1970

ЧАША

ТАЙНА

Дом побеленный недавно построенный
за ночь оттаял совсем.
Вид на деревья за рамой раздвоенной
должен понравиться всем.

Сладкие вздохи дымка сигаретного,
что это было тогда –
Тушино, Стрешнево или Медведково –
вам не узнать никогда.

Ведь и помыслить не можно, а в случае
мыслей тяжелых, как крест,
нервы задергают, совесть замучает,
внутренний голос заест.

Это самою судьбой засекречено,
нам ли идти напролом!
Это еще и теперь на залечено
в чьем-нибудь сердце живом.

Больше ни слова слезами согретого,
хватит и так за глаза.
Что вам до тайн моих! С вас и без этого
можно писать образа.

1971

ПИСЬМО

Все так же, как было когда-то,
хотя подрубили столбы:
и плесень на здании МХАТа,
и суполка темной толпы.

И все же ты счастлив — не так ли,
спеша мимо вытерных стен?
И значит, сменились спектакли,
а в прежних — число мизансцен.

Знать в недрах почтового шкафа
нашли для тебя, что хотел,
раз со ступеней телеграфа
ты, словно на крыльях, слетел.

И слез драгоценных удавки
глазам разглядеть не дают
профанов у Пушкинской лавки,
всегда обитающих тут.

И впрямь, что тебе до профана,
тебе, завязвшему нить
такого, простите, романа,
который нигде не купить?!

1971

НОЧЬ В ОСТАНКИНО

Клумб садовых взошедшая пашня.
Ртуть блещет густая листва.
Вдалеке огоньки телебашни,
словно маленький дом божества.

Где-то узник ложится на нары,
где-то птица уснула, а тут
сплошь да рядом влюбленные пары
не решили, где ночь проведут.

Перед ними судьба свои карты
не раскрыла еще до конца.
Плачьте, юные дамы и барды,
если в вас не остывли сердца!

Не помогут вам куртки с кистями,
ливень вымочит ложе травы...

Прижимаясь друг к другу телами,
постепенно растанетесь вы.

Плачь, любитель гитарного звона!
От тебя в предыюньскую ночь,
испугавшись, в родимое лоно
убежит адмиральская дочь.

1971

ДНИ ЭЛЕН ГРАБУА

фрагменты

Зачем, Елена, так пугливо...

A.C. П.

Пролог

Зачем приезжала ты? Капля свободы –
и все пролилось через край.
На дни неподвижные, краткие годы,
на целую вечность
прощай.

Третья встреча

Однажды мы встретились, как и всегда,
и нас потащила людская орда
под землю в метро, в павелецкие норы.

Нет, я никогда не забуду тебя –
ни рук твоих маленьких вечного льда,
ни глаз твоих венчозеленых просторы.

В другой раз

Мы целовались на одной из тех
ничем не примечательных скамеек,
а после быстрым шагом без помех
пересекли арбатский перешеек.

Я помню все: у булочной стоял
автофургон, чьи дверцы без утаек
распахнуты, и грузчик разбирал
большой стеллаж еще горячих саек.

Под аркою блестел асфальт сырой.
Как хорошо, что ты в меня влюбилась!

Мы долго шли по лестнице пустой
на самый верх, манящей темнотой,
мимо окон, в которых ночь светилась.

О д н а ж ды н о ч ь ю

Милая настолько хладнокровна,
что на все согласна для меня.
И во сне — как в жизни — дышит ровно.

И лицо открыто и духовно
в темноте родившегося дня.

В м е т р о

Сначала мраморная жила.
Потом летящая могила.
Потом измаиловский лес.

Прощай. Не трать на муки пыла.
Спасибо и за то, что было
самой судьбе наперерез.

П у т е ш е с т в и е

Здесь на Изборской крепостной стене
ты вновь пришла из прошлого ко мне
и нежно обняла неловко...

Осины тлели в розовом огне,
холмы покатые горбатились на дне,
и речка серая блеснула, как подковка.

+

...И фиолетовые тени
изборских серых валунов,
и мхом поросшие ступени
(все описать в письме к Елене)
ведут во глубину веков,
как в хлевом пахнущие сени.

+

Листва стала розово-красной.
На псковской земле коренастой,
где к храмине лепится храм,
сентябрь еще храбр и упрям.

Нет, ты была слишком бесстрастной,
чтоб ластиться к этим холмам
с их внутренней силой негласной.

+

...И вспышки золотых берез
в дремучей темной хвое,
и в копны сжатый сенокос,
и изморось, и жженка слез...
Ну как понять тебе такое?

Мне посчастливилось увидеть... довелось.

Еще в августе

Сначала роз садовых куст,
антоновки зеленый хруст,
потом вокзал — рубахи, блузки...
И Карла Маркса пышный бюст.

И трепет долгожданных уст,
и лепет твой — почти по-русски.

Прощание

Сидела в кресле, слушала Булата,
и по родной щеке текла слеза.
Прощай! И я любил тебя когда-то.
Отчаяваться все-таки нельзя.

Расстанемся. Я был тебе за брата,
хоть долго жили в комнате одной.

Твой самолет уже летит куда-то...
Уехала! Уехала! А я-то!
еще надеялся, что кончится игрой.

сентябрь – октябрь 1971

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ

Я чувствую, твои глаза стальные
глядят в окно, а там зима и снег.
Мне страшно от твоих безличных нег.
Мне все мерещатся предметы неживые,
как русла льдом обетованных рек.

То книга мертвая, то лампа без огня.
И в эту комнату без книг и репродукций
не пожелал бы я хозяину вернуться
на самом склоне искристого дня,
в прихожей небольшой от снега отряхнуться.

Ни в комнату войти, ни тихо в кресло сесть,
ни вынуть из стола бумаги лист атласный,
ни написать стишок бессмысленно-прекрасный,
ни шепотом его в восторге перечесть...

На всем лежит твой взгляд стальной и ясный.

1971

II

1972 – 1975

ЮГ И СЕВЕР

КРЫМСКИЙ ДНЕВНИК

1

Не в гаремах московских татар
собралась же всей жизни наука!
Лучше спрыгну я в поезде с нар
через сутки, пойду на базар
и куплю барабульки и лука.

Хорошо мне на солнце теперь
в серой гальке валяться, поверь,
а не в умственном мраке острожном.
Я уже не считаю потерью
и не бегаю за невозможным.

...Здесь с огромным, как глыба, мешком
по горам верхолазят пешком,
крошат скалы туристским кастетом.
Здесь шашлычник кричит петушком,
и гуляют мужчины с брюшком
под деревьями с розовым цветом,

чей цветник, опьяняющий нас,
каждой розой зажегся, погас,
выставляя шипы для укуса.
Здесь Кутузову вырвало глаз —
как подкошенный рухнул Кутузов
и окрестные горы потряс.

Черноморья бескрайний покой
уподобился белому шелку.
Как хочу потрепать я рукой
Аю-Дага лохматую холку!

.....
Я хочу еще думать и знать,
что коснется меня благодать,

за порогом судьбы неимущей
я хотел бы тебя увидать
настоящей, живою, бегущей
мне навстречу сквозь пустошь и гладь.

2

К причалу катер подошел.
И равномерный шум прилива,
сосны прибрежной бурый ствол,
террас цветущий произвол
— все было хорошо на диво.

Нашлепки мха на валуне.
В листве заметно дуновенье...
Как хорошо бежать к волне!
Давно пора принять решенье,
уже готовое вчерне.

Но как стать чище сироты?
Поставить крест на самом трудном?
Все сделать так, как хочешь ты?
Магнолий жирные цветы
среди ветвей во мраке чудном...

Все, все забуду наконец:
как я любил тебя жестоко,
Ай-Петри сдвоенный зубец,
на горке каменный дворец
с претензией на стиль Востока.

Но не забуду дум своих
у вод на каменной приступке —
ведь я тогда навек затих
для уст, для глаз, для рук твоих
в скорлупчатой листве Алупки.

3

Сколько писем! И все от постылых.
От тебя же, дарующей свет,

ничего от щедрот твоих милых —
ни знаменья, ни весточки нет.

Или все наклонилось к упадку?
Или, думаешь, я не боюсь?
Или ты разрешила загадку,
над которой все еще бьюсь?

Или крымская зелень цветная
(а дорога петляет, кружит),
или серая галька морская
на огромном пространстве лежит...

Может, катер за склоном покатым
не исчезнет в иные края,
может, встречу на взморье крылатом
не тебя, а какой-нибудь атом
от щедрот твоего бытия.

4

Не бурые складки дряхлеющих глыб,
не пышную пену за глиссером нашим,
где чайки следят зазевавшихся рыб,
не звучных красот миражи и пейзажи,

— люблю самый первый единственный час:
по твердым ступеням спускаешься с горки
и видишь бескрайнего моря атлас
и маленькой ракушки сизые створки...

Ты тоже родная, ты тоже одна,
ночная крупица, молекула утра,
а я, как бесчисленный камень со дна,
поклонник и раб твоего перламутра.

5

Длись, мое путешествие, длись.
Вдоль по палубе лампы зажглись.
Море пенится, небо чернеет.

Пассажиры давно разбрелись,
и глубинною свежестью веет.

Выются искры из белой трубы.
У меня был секрет от судьбы:
втихомолку я веровал в чудо,
в настоящего горя плоды.

Все, о чем мне мечтать довелось,
как-то разом в душе собралось,
словно масляный ком полыхнуло,
на иоту одну не сбылось...

Обходи же, дежурный матрос,
наше богохранимое судно.
В темноте пролетел альбатрос.
А ожоги от собственных слез
в мощном мире лечить безрассудно.

май 1972

СЕВЕРНЫЕ МОТИВЫ

1

Черное дерево, старая ель.
Мха и брусники живая постель.
Первые признаки северных дней!

Что ж — чем печальней, тем сердцу родней.

...Нет, не в мешке из округлых камней
кончу я годы свои величаво.
Я и теперь вспоминаю о ней —
церкви с крыльцом, завалившимся вправо.

Шаткие доски да бархат перил,
рамы злаченые иконостаса.
Бог запустеньем своим осенил
эту часовню Последнего часа.

Скоро зверями наполнится лес.
Рыбу в озера пошлет Небожитель.
Скоро на влажной траве до небес
вырастет новая, братья, обитель!

2

Осиrotели мы, братья. Филипп
Грозным в Московию зван на служенье.
Вроде, как прежде, над блестками рыб
чайки с утра начинают круженье,

и хороши ледяные ветра.
Только темна моя келья сырая.
Пред образами стою до утра.
Плачет душа, как юродка немая.

Все ожидаю — хоть задним числом,
да принесет перелетная утка
весть об игумене нашем родном
с мест, где лютует Скуратов Малютка.

Ох, слишком свят он и прост — чтобы там
с царской фистулкой ворочать делами.
Жгите лампады по красным углам!
Что теперь будет с убогими нами?

3

Кто там в черном мешке у подклета
просидел уже многия лета?
Хлеб пузырчатый мочит в воде,
и желта седина в бороде?

Кто крестится сухими перстами,
перед сном собеседует с нами,
заселившими хоры, верхи,
чтоб оплакать его же грехи?

Уж не тот ли, кто с царского судна
к нам спустился, закованный трудно?

Чайка села на волн гребешок.
И отправили брата в мешок.

Чтобы знал свое черное дело,
иссущил свое грешное тело,
и над горкою тленных мощей
спел анафему дядька Кащей.

...Но когда я молюсь в своей келье,
все мне кажется, что в подземельи,
где давно уже старец угас,
тоже кто-то упал на колени,
лбом стучит о крутые ступени...

Знает Господи правду о нас!

4

Рыбачить с другом собрались.
Валун пошел на кладку.
Да вот беседой увлеклись,
недаром бражкой запаслись
от жен своих украдкой.

Сидим в рассветной темноте
на озере. По бороде
стекает медовуха.
Хрустит огурчик, слышен смех,
я говорю тебе за всех:
— Не след роптать, Петруха!

Корми из рук своих птенцов,
бей волка из пищали
да поминай святых отцов,
они за нас за подлецов
пред Богом обещали.

Высокий лес на берегу
в клочках тумана, как в снегу.
Монах спешит в пещеру.
Как хорошо разросся вширь

наш Соловецкий монастырь.
Приумножайте веру.

1972

Из цикла ЭПИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ

Прощание игумена Филиппа с Соловецким монастырем в 1566 году

Гляжу на двор и мысленно прощаюсь.

Гляжу на двор, где строится собор,
где иноки и братья тешут камень,
несут желтками сдобренный раствор,
работают, — и чую, дело жизни
окончится, должно быть, без меня.

Собор Преображения Господня!
Оплот Христовой веры в Соловках!
Еще в затачке каменные стены,
еще не все поставлены леса,
а я уж вижу мощные апсиды,
и ярусы богатых закомар,
и звучные кресты на стройных главах.

Но надо ехать. Кончат без меня.
И без меня торжественный молебен
впервые в новых стенах прозвучит.
Прощай, обитель, в коей я молился,
нес послушания, спасался, согрешил.
Прощай, родная сердцу солеварня
и церковь Богородицы, прощай,
с приделом Иоанна. Уезжаю.
Прощай, Святое озеро, всегда
дающее для наших трапез рыбу.
Прощайте, заповедные леса,
никто из иноков не запятнал вас кровью
убитой дичи и не оглушил
предсмертным стоном бедного косого.

Так будет впредь.
А мне пора в Москву.

Иль впрямь на драгоценную парчу
так трудно променять простую рясу?
Иван мне письма шлет: „Озолочу!”
Я подзову его к иконостасу
иль сам сойду в объятья к палачу.

Иль Грозный думает, что я лишь раб и вша,
что я польщусь на сан митрополита,
его дары руками вороша,
не замечая, сколько перебито?

Нет, русской церковью неможно помыкать!
Помилуй, Бог! Чтоб этими руками
я крест давал Малюте целовать?
Есть Божий Промысел. Прощаюсь с Соловками.

1972

ЕВФРОСИН

Ни зги на дворе. Холода в октябре
на Псковщине лютο завыли.
Качают верхушки окрестных осин.
В убогой домушке не спит Евфросин,
сомненья его помутили.
Черствеет просвира, коптит фитилек,
лампада, тускнея, лучится.
Рука уставала — был слишком далек
замах, чтобы перекреститься.

С вопросом спешит он к церковным мужам,
а те пожимают плечами.
Тогда Евфросин обращается к нам
с такими, примерно, речами:
— Сыны! Я иду к патриарху в Царьград,
где вера сияет Христова.
Зима на носу, шелестит листопад.

Но что православному холод и глад!
Он ищет последнего слова.

...Вот нет его триста, четыреста дней,
как вдруг по наитию ночью
мы все повскакали с тесовых скамей
и пастыря видим воочью.

— Не зря, правдолюбцы, я выдержал путь,
в Царьграде победствовал славном.
Об этом еще расскажу как-нибудь,
теперь повествую о главном.
Кончалася служба в Софии. Дышал
луч солнца на утварь златую.
Иосиф кресты повсеместные клал.
Я дрогнул всем сердцем. Отец! — вопрошал —
двоить иль троить Аллилуйю?

Небесный отлив патриарших седин
мешался с дымком фимиама.
Он пристально глянул: ДВОИ, Евфросин.
И вышел из Божьего храма.

1972

КАНУН АНТИХРИСТА — 1666 с т о л б ы

...Лишь было жалко свой приход,
где бормотал дьячок по книге,
и на крыльце прирос юрод
грудно впадиной к вериге.

В репейчатый узор решеток
цветная вставлена слюда.
Лежит пучок янтарных четок.
Святая капает вода.
Лампады запахи бесценны.
Трещат огни в дровах сухих.
И кожей стеганые стены
перенимают отблеск их.

Затишие в патриаршем доме.
Дубовый стол. Железный ларь.
Недаром в Божеской истоме
с утра трепещет Государь.

+

На лавку брошенную рясу —
комок лимонного атласа
хватает служка, работящ,
чуть мешкает, богопротивный,
но вот несет темно-крапивный
от соболей тяжелый плащ.
Владыку возбудили звуки,
и он, как Божеский укор,
клобук на темя, посох в руки:
как литургию служат, суки! —
спешит через кремлевский двор.

+

Уха белужья с алым луком.
Стерлядка теплая с хренком.
Пирог с визигой с мягким звуком
разрезан острым тесаком.
Икорка красно-золотая.
С душистой слизью крепкий груздь.
Ломоть горячий каравая
в окно юродам бросят пусть.
Мадеры звездчатые вспышки.
Желудка праведная месть...
И глазированные пышки
уже никто не хочет есть.

+

Горошин горстка из стрюочка,
да жбан воды, да скрип калитки.
Опять какого-то дьячка
в чулан закрыли после пытки.
Петух забрался на насест.
Везде навалена солома.
Все заглушает благовест.
Сам Государь спешит из дома,
на шее поправляя крест.

+

Боярский острый каблучок.
Раскольник корчится на дыбе.
Ребро попалось на крючок.
Просол потребен красной рыбе.
Женоподобный келарь пьян,
грозит анафемою блуду.
В телеге привезли сафьян
и флорентийскую посуду.

+

Едва разъехался собор,
как что-то лопнуло в столице:
то в алтаре попался вор,
то бес прошиб нутро девице.
Архиепископ отлучен.
Архимандрит теперь в боязни.

Латыни я не обучен,
но тоже к делу привлечен
и с нетерпеньем алчу казни.

1972

НА МАЛОМ ЗАЯЦКОМ...

На малом Заяцком протоптана тропа
тяжелой поступью помора.
И камни белые горой, как черепа,
лежат на берегу простора.
Здесь Божий Промысел смешал для нужд своих
большие кости ратников советских,
эсеров стрелянных, гвардейцев золотых
— с мощами старцев соловецких.

1972

ВЕСНА ОСЕННЯЯ

ДРУГУ

Когда бы еще я не выплакал глаз,
какое виденье меня волновало б?
Какую чуму призывала б на нас
одна из моих многочисленных жалоб?
Весь округ с тарелку. Губерния то ж.
Мой домик в глухи склонили надежно.
Его ты, конечно, не сразу найдешь,
но если захочется — все-таки можно!
...По зелени выюги при свете ночном,
серебряным веткам, воздушному треску,
по валику снега под черным окном,
которое светится сквозь занавеску.
Все это легко поместились на дне
космической ямы, по праву невзрачной.
Мой друг подзaborный! Мой мальчик чердачный!
Лети посидеть за бутылкой ко мне.

1973

МАСОНЫ д и п т и х

1. Предистория

Послушай царицу событий и драм:

однажды отправился Адонирам
осматривать храм Соломонов,
взглянуть на лепнину, резьбу и краплак,
ну может, подправить резцом что не так
в скрижали еврейских законов.
...Смеркалось. Но вечер еще не настал.
Паслись в отдаленых коровы.
Лоснящийся дож стадо оберегал.

А зодчemu грудь холодил, как металл,
таинственный знак Иеговы.

.....

Но вдруг отделился от южной стены
и бросился к зодчemu некто –
который вонзил ему в смуглый висок
отточенный загодя циркуль.

Учитель метнулся в соседний придел
к стропилам из свежего леса,
он к тесу щекою прижаться хотел,
но тут его новый предатель огrel
свинцовою гирькой отвеса.

И чуя бегущий в морщинах ланит
кровей своих запах угарный,
он с шеи срывает, пока не убит,
– и знак Иеговы со свистом летит
в бездонный колодец алтарный.

И лишь у последних восточных дверей
вполне увенчалась засада,
когда, наконец, проломили киркой
вмешавший вселенную череп.

.....

Теперь поспешай, если духом не пуст,
к развалинам храма от мира.
Послушай, что шепчет сиреневый куст!

Он черпает истину прямо из уст
зарытого здесь Адонира.

2. Суть дела

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири...

O. M.

Прошли столетия.
Петровский черенок
в России начал прививаться.

Не мало мутного принес с собой поток...
Так в Петербурге начали брататься.

Но просвещение, Вольтера, атеизм
и осчастливленное стадо
с игрою магии и разноцветных призм,
пожалуй, путать нам не надо.

Одно, когда тесак нас косит, как траву,
над кучею голов – диктатор.
Другое – волшебство. Фрегат вошел в Неву.
Иллюминат глядит в иллюминатор.

Но в русских головах, покуда на плечах,
все удивительно смешалось:
магический кристалл сточился и зачах,
а братство криво разрасталось.

Так вольный каменщик пришел на плац-парад,
а оказался сотрясатель трона.
И победивший демократ
построил свой хрустальный ад
на голубых костях масона.

1974

НА ВЫСТАВКЕ

Здесь все из золота: пудовые короны,
(вот человечества начала и азы!)
шумерские бадьи, аккадские бидоны,
фракийские корыта и тазы.
Мерцает платиной труба водопровода
и канализационная труба.
И просто так лежит на лестнице у входа
большая куча серебра.
И искусно вправлены в колечко великана
сапфир, рубин, топаз.
А если поглядеть за филигрань стакана,
то искры сыплются из глаз.
...А там под лестницей ковровая попона,

кропоткинского воздуха нужда.
Волхонка черная бежит к подножью трона,
где, как наложница в объятья фараона,
с испугу прыгает кремлевская звезда.

1974

ЛЕНИНГРАД В ИЮНЕ...

С сей Клеопатрою Невы...

Пушкин

Все львы, да конюхи, да конные дворы,
укрытые в лазурную личину.
Вот-вот покатятся гранитные шары
и рухнут в невскую пучину.

С листвы накапало в одну из плоских ниш,
где ежится сатир женоподобно...
Но раб надеется, что ты его казнишь,
но перед смертью наградишь
всем тем, чем госпожа способна.

И потому бегу по лестницам в галоп,
беру рукой трамвай за жестяные жабры,
и слушаюсь, когда — нас ленинградский сноб
 заводит в конуру, конечно, полугроб,
 чтоб за полночь читать абракадабру.

Но ночь-то белая! Но на Литейном тиши!
Мост на-попа стоит, подобно башне Трои.
Но раб надеется, что ты его казнишь
и, пусть на цыпочках, введешь в свои покои.

1974

ОКТЯБРЬ – 74

Там, где ветер, уповая
на свободу, прав лишен,
красным грохотом трамвая
перекресток оглушен,

там, где пьяница улечься
захотел среди воды,
я прошу тебя беречься —
днесь недолго до беды.

Говорят, в Москве убийца
бьет стилетом женщин в грудь.
И уборщица и львица
одинаково боится
поздно вечером шагнуть.

Жертвы он в листве хоронит,
тащит в черный водоем...
Кто же он? Куда нас гонит?
Что так жалобно поем?

...Как душисты струи смрада
средь дубов в саду, когда
тлеют кучи листопада,
на пруду рябит вода.

И по воздуху белёсу
проплывает черный сук...
Дай, прохожий, папиросу,
подожги мне спичку, друг!

1974

МИМОЛЕТНОЕ

Диск над лесом, что желт и рассыпчат,
наливается соком стальным.
Журавли безвозвратно курлычат,
сквозь клубящийся пасмурный дым
уносимые в стройном порядке
в край, где манго, горчащий на вкус,
где гашиш поливая на грядке,
собирая бока свои в складки,
шоколадно лоснится индус.

1974

X X X

...тищетно был я молод
Пушкин

...Ни воску теплого, ни камушка, ни смол
законопатить уши нету,
когда звучит в саду старинный рок-н-ролл,
и дева, не чинясь, попросит сигарету.
Когда-то ведь и мы, принарядясь,
на эти игрища спешили.
Тогда такие па преследовала власть,
а патлы пацанов, не слишком золотясь,
раз в десять покороче были!

Слегка шероховат горячий лен плеча,
и червячок с ветвей похож на сукровицу.
Цветные лампочки манили сгоряча
за их тревожную границу.
Но рот возлюбленной был твердым, как орех.
И этим сразу же исчерпывался грех.

А сладко вспоминать, однако,
тот допотопный страх... тот первый неуспех...
почти единственный — похвастайся, гуляка!

1975

РАЗРОЗНЕННОЕ

Из цикла "СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА"

I

По снегу бронзовой стопой.
Мы так бы не могли с тобой,
надевши валенки с галошой,
бежать завьюженной тропой
к дворцовой церкви с крестной ношей.

Пальмира Северная! Край,
где пересек канал Канавку.
А небо и вороний грай
напоминают горностай,
наброшенный зимой на главку.

II

В Дианах Севера — такая полнота,
что кажется, они объелись пирогами,
янтарной вырезкой из тела осетра,
которую берут душистыми руками.

Диана Севера едва ль о вас всплакнет,
когда весенний дрозд, вернувшись из круиза,
сидит на веточке, иль ленточку клюет
в мучнистом парике крепостника — маркиза.

Но так ли двойственна улыбка этих губ,
как где-нибудь вдали в роскошестве Европы,
когда вот-вот упал с покатых плеч тулуп,
и залетает снег за мраморные попы.

III

А между тем – народ дичал.

В расшитой золотом тужурке
улан с княжной летел в мазурке,
зеркальным каблуком стучал.

Уже Париж „виват” кричал,
глядели путти из эфира,
с лопатки капал сок пломбира.
Улан законы изучал.

Ребята! – генерал рычал,
валясь с кобылы в эту кашу –
да что... да вы... да я, мать вашу...
(Улан переодет в Маврушу).

А между тем народ дичал.

IV

Великопостный нос Апостола Кнута
сам по себе почти икона.
В окно кухмистерской ввалились холода,
и каплет крупный пот с мощей Виссариона.

Вот тут всемирный Дух и делает витки:
у нас и Гегеля на все свои законы.
В тазу со льдом лежат кровавые платки.
Со стула по дуге сползают панталоны.

V

.....
.....
.....
Когда-нибудь и ты в мою коммуну вступишь!

VI

С нашатырем разбит флакон.
Орел, как бронзовая жаба,
косит глазами из окон
на арку нашего Генштаба.

Как говорится, кончен бал.
В застенки побросали фрейлин.
Уже с отвесных финских скал
на броневик спустился Ленин.

Как обезьянка на плече,
заснуло пламя на свече,
но за окном то мрак, то вспышка.
Там в языкатом кумаче
по всем покоям ходит Гришка.

Все понимают, что не вдруг
остался фронт без провианта.

И вот матрос несет сундук
и рахитичного инфанта.

январь 1975

x x x

Голубая косилка при входе.
Не разбейте о притолку лбы.
Солея в голубином помете.
Золотая насмешка резьбы.
Полустерта сусальная фреска.
На Апостоле копоть и гарь.
Заржавела на петлях нарезка.
Некрещенные входят в алтарь.
Сквозь проломы небесное тесто
вяжет отблеск огня своего.
Это Богом забытое место
было некогда храмом Его.

А теперь это пустоши, мрежи
да трава на могильном горбу...

Но зачем, Иисусе, и где же
хочешь слышать ты нашу мольбу?!

1975

КРЕЧЕТ

Осанистый петух с пунцовыми зубцами,
с отливом перьев по плечам.
Все куры от него с разбитыми сердцами
несутся в сене по ночам.
Зерниста кожа лап, а звездчатая шпора
дрожащей клушке свысока
в момент блажества до упора
вонзается в бока!
...И где-нибудь в хлеву колхозника соседа
она ему снесет из золота яйцо.
Но он успел забыть.

Так новая победа
не опалит ни сердце, ни лицо.

Все кончено. И никаких претензий.
Изба хранит меж бревен мглу.
Лишь купы поросят-гортензий
прижались к тусклому стеклу.
Но горделивый монстр, он все соображает!
и этот белый солнцепек,
и нас томящихся — зеркально отражает
его глазной рабек.

1975

ПРИМИТИВ

Желток под тучами блестел,
и поднимался ветер снова.

Охотник сеттеру свистел.
Рыбак с ведерком шел с улова.

Был метко селезень убит.
Плотвица съела крюк железный.

Утиной шеи малахит
и жабры клапан бесполезный...

Тогда в лесной алтарь залез
и начал щелкать соловейка.

За долом дол. За лесом лес.
За сенокос цена — копейка!

И у озерных берегов,
где просмолились за ночь тучки,

шероховатых лопухов
качались алые колючки.

1975

СТАРИК

Собака похожа на злую лисичку,
лениво лежит у крыльца на краю.
Старик достает из кармана отмычку
и нас приглашает в хибару свою.
В окне оглушительно квокнут лягушки,
сквозь тусклое небо видать далеко...
Ты радостно пьешь из купеческой кружки
со сгустками сливок живых молоко.
Ты слишком доверчива!

Пахнет угрозой,
и ласковый старец, хитер и небрит,
к туманному зеркалу с выцветшей розой
лицом повернувшись, за нами следит.

Трава шевелится на дикой дорожке,
лиловые заросли тянутся к нам...
И дождь размывает коровы лепешки
подобные, впрямь, поминальным блинам.

1975

III

1976 – 1977

ИНЕЙ

АРХАНГЕЛЬСКОЕ

Плашки листьев вморожены в лед.
Наклонились плакучие ивы,
и насквозь пронизал небосвод
их отвесные ветви и гривы.

Шел серебряный свет из окон
и мертвящий — с портретов Ротари,
куртизанки ли, впавшие в сон,
или фрейлины в жмурки играли?

Но пугала своей белизной
манекенная грудь у корсажа,
чей атлас отливал голубой
чернотой, как холодная сажа.

И косынок щекочущий газ
обегал обнаженные плечи...
Ничего не осталось у нас,
кроме щиплющей влаги у глаз,
кроме отзывков собственной речи.

Знать, само Провидение, Рок
в перекошенных тапках с тесьмою
привели меня в этот чертог,
чтобы знал, где проститься с тобою.

1976

ЭЛЕГИЯ

Мерещится, я не один брожу
по этим сумеркам, — с тобою.
То что-нибудь тебе скажу,
то утаю, солгу, сокрою.

Столь ясно помнятся и стать твоя, и прыть,
любая ипостась и складка,
что лгать не совестно и правду говорить
тебе, единственная, сладко.
Кривую улицу, покрытый снегом храм,
где воронье обсело крышу,
я не один, а пополам
с тобою чувствую и вижу.
И что мне до того, что там где ты — июль,
а тут воротники да шубы?
Запью ли горькую, умру ли, оживу ль, —
все так же радуют глаза твои и губы.
Все так же радуют... Но нет, еще сильней,
зане не гаснут, не твердеют.
И волосы твои еще рыжей
на полотне подушки тлеют.
Чего ж... Благодарю, что ласкова с чужим,
ты лучшие часы крадешь для нас, воровка.
Да мне и так легко! Да я смеюсь над ним!
И не скучна моя зимовка.

1976

У НИКИТСКИХ

Бронзовый Толстой порос жирком,
развалился в кресле правоверный.
И блеснул на нас морским стеклом
горьковский особнячок модерний.

Капая слезами на сукно,
там читал стихи волгарь вампиру.
В лилиеобразное окно
беспробудно окал миру.

+

Но поют дубовые часы.
И смирив позыв к зевоте,
Встал вампир, сказав в усы:
— Посильней, чем „Фауст” Гете!

Алексей Максимыч, — вы поэт.
И поднес ему в награду
театральную коробочку конфет,
в чьей помадке много яду.

+

И сломалась сормовская жердь.
Багровея, приподняли
и в стены кремлевской твердь
навсегда замуровали.

1976

х х х

Подумать, сколько было вложено
сердечной силы, скорби впрок!

Погребено и обезбожено
и не пускаем на порог.

А сколько слов в слезах повторено
и в каждом взгляде и черте!

Все позабыто, проворонено,
осталось неизвестно где.

...А для чего сутробы таяли,
в пшенице сохли васильки,
цепные псы на даче лаяли,
о стекла бились мотыльки?

Тогда среди сияний выспренных
еще не открывалось нам,
что много званых, мало избранных
и приуроченных к мирам.

И растекаясь вместе с реками,
и забираясь на холмы,
и с солью радужной под веками...
Да разве думали, кумекали,
что всех недолговечней — мы?

1976

ПРОБУЖДЕНИЕ

То ли прислушался к дальнему возгласу, звуку,
иль померещилось? — по деревянному стуку,
свету морозного парника...

То ли откинул во тьму незадачливо руку,
и затекла без уютной лощины щека.

Вот и лишился —
русалочных прелестей выюги
на белоснежной раскидистой лапе лесной,
тихих теней за зеленым окошком Калуги,
чаю с варением, рыбинских фиников скуки,
сна под коломенской густо-багряной луной.

1976

PATRIOTICA

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

I

Решено. А что решено?
Сквозь холщевое решето
манна упругая сыплется вниз,
где сумрак, голь и ржав барбарис.

Еще денек ложится на дно.
Оконце к ночи зачернено.
Ни шагу вперед, ни пяди вспять.
Папироску смять да ложиться спать.

...Через волок лет во сырой земле
ни за что не будет так хорошо,
как теперь на сухих простынях в тепле,
где на стеклах осенних дождей крюшон.

Красновата пена дождя в夜里.
Если днем молчишь, по ночам кричи.

Говорят, живем на земле в аду,
и увы, правы, к сорока сгорим.
Выбирай во сне по душе звезду
и заранее назовись родным.

10.11.1976

II

Первых подснежников сонный букет.
Завал на столе. Ни да, ни нет.
Земля ощутима не вширь, а вглубь.
За каждый аршин — серебряный рупь.

Апрельских выюг голубой металл.
И я одиночество тоже знал!
Я твердо помню черневший днем
дворец Кускова гнилым бревном.

Журился грач и журчал ручей,
который вотще затихает тут,
где дни в отличии от ночей
проходят в спячке, к подушке льнут.

Судьбы цепочка — к звенцу звенцо
ледяным огнем опалил лицо.

Рассвет придет, укажу на дверь.
Ночь разложила костры Ковша.
Пять лет тому... Но еще теперь
тебе открыта моя душа.

14.3.1977

В ПЕТРОГРАДЕ

I

Воспаленные ноздри тучных вельмож,
точно жены наставили им рогов.

И кусает всех просвещенья вошь,
и заест ведь насмерть, без дураков.

У Петра в очах по осе сидит,
и круглит плеча жестяной доспех.

А сынок его за рубеж бежит,
девку кутая в соболиный мех.

Ах, Алеша! это такая боль!
Возвращайся вспять да на дыбу лезь,

потому что мощи твои — юдоль,
из которой дух был да вышел весь.

Россияне, точно клещи в хвоще,
каждый смолоду неумен, щербат.

Помолись за нас в небесах вотще,
Алексей Петрович, собиный брат!

II

Ржав доспех петроградского дуба, но
не уйдет столица болот на дно.

И янтарно склеила пальцы смоль.
О какое чудо! Какая боль!

У осиновых волчьих зеленых глаз
собрались морщины. Усы торчком.

Но Россия — мамка и любит нас,
хоть и учит палкой с кривым сучком.

По-отечески тяжела рука,
Император плотничает, щекаст.

Так пойдем, не бойся, хоть хлябь хлюпка,
но упруг и прочен ледовый наст.

Не пищит комар, потому мороз,
золотится на солнце медовом шпиль.

И струится иней твоих волос,
как замороженный в сопку седой ковыль.

III

То ли жизнь прошла, то ли голос сник,
даже скруты мне тишина свела.

Или Павла вопль, Александра крик
заморожены, вот и все дела.

О Имперский Сад! Мой собиный друг,
не сберег ты свой золотой доспех.

Раздели со мной золотой досуг.
Тоже и помолчать не грех.

...И послушать, как скрипят сапожки
у моей любимой, идущей вдоль
по аллее, подобной игре в снежки.

О какая радость! Какая боль!

— на границе осени и зимы,
на границе всего, что было дотоль,
и того, что будет, ежели мы
возвратимся каждый в свою юдоль.

18-20.11.1976

НОЧЬЮ

1

Ты уснула,
а я не сплю,
потому что я все люблю, люблю.
И еще потому, что мне страшно спать,
как чужому под небом чужим лежать.

Если буду лежать я в чужом краю,
там где жимолость-жалость и милость-грусть,
вспомяни про нашу любовь в раю,
где зима смотрела на грудь твою,
на тебя, бормотавшую: жарко... пусты...

Плоился воск и была зима,
и было лето, когда с тобой
мы оба разом сошли с ума
и купались утром в воде рябой.

...Щепа вселенной на брачный пир,
где нет ни трапезы, ни вина,
к окну слетелась из черных дыр.

Тень медвежья боится сна.

Все нити разом держать в горсти
и думать: можно еще помочь.
И думать: можно еще спасти.
Вокруг огарка роится ночь.

Но рвы морщин на моем лице
говорят, что поздно уже — устал.
Пойми, подруга, в твоем ларце
я не та икона, не тот кристалл...

Власяница света узка в плечах.
Сколь пуглива нежность в твоих очах!

Пусть твоих сновидений цветной мелок
зашуршит стрекозами в летний миг,
когда омут неба еще глубок
и орехом колется в поле крик.

1977

РОМАНС

Я люблю этот морок за то,
что его ты насытить сумела
смуглым взором, обветренным ртом,
странным ватою дремою тела.

Зимним полднем по белой траве
научился бесшумно бродить я,
все тася в своей голове
недомолвки твои и открытия.

Говори, говори, говори —
почему была столь тороплива,
почему от зари до зари
в горле горлица спит сиротливо?

Не хмелеть бы на первом глотке
не пленять бы глазами да гладью,
а подольше побыть на катке
и потом помечтать над тетрадью...

Повернем-ка, мой ангел, назад
чуть ни в детства ангину и смуту,
чтобы стало как раз в аккурат
торопить дорогую минуту.

1977

ВАРИАЦИЯ

(на закате)

У павлиньих мороженых окон
в белых джунглях листвы и волокон
на багряных квадратах стены
наши лица темны.

Наши лица темны — и не надо
отчужденного жалкого взгляда,
потайного пожатья руки,
бормотанья строки.

Нас с тобою двоих маловато,
говори, с кем шепталась когда-то,
ненапрасно мечтала о ком...

Я впущу его в дом.

Вечеринки десятого класса,
летних листьев зеленая масса,
Подмосковья поджарый король
и от плача затихшая боль.

ПУТЕШЕСТВИЕ

ПАМЯТИ ДЖОНА КИТСА

I

Голубенек вереск лесной –
весной.

На ветру у Китса шумит такой.
Наподобье ягод темна капель.
На холмах у Китса теперь апрель.

С колокольни Китса видны зараз
и хоромы лета, и зимний лаз,
черепица осени, сад весны,
и в любое время плоды вкусны.

Да ему не снилось, как нам говеть!
Есть когда подумать, где грот согреть.
Да у нас потолще, поди, армяк,
похитрей, поди, полевой хомяк.

Китс бы с наших дровен слетел в сугроб,
размозжил о притолку нежный лоб,
потому что если у нас зима,
ничего другого уже нема.

II

У Китса на чердаке
треуголка ветхая на крюке
и золова арфа в густой паутине.

...А у нас давно плывет по реке
гора старья на пречистой льдине.

Наступила оттепель, наконец.
Мальцы по площади плот гоняют.
Зачем ты жил на земле, певец?
Здесь о тебе ничего не знают.

Продмаг, знакомая полумгла,
на темной полке блестит сивуха.
Но отравила, не помогла —
в сетчатке влажно, а в горле сухо.

По склону с горки ползет погост,
над ним бескрестный зубец руины.
Земля дана человеку в рост:
за ширью Родины, даль чужбины.

КИММЕРИЙСКАЯ САГА

М. Блоху

Ястребок, один из сынов Израиля,
под Святой горой указует — в путь!
На глазах гряда облаков истаяла,
подсоленым воздухом дышит грудь.
Голубиной гальки цветное крошево,
но еще во всю холодит апрель.
Потому нежна акварель Волошина,
серокрылый ветер свистит в свирель.

За кустами старый шахтер качается,
помоложе смотрит над кружкой вдаль,
молодой без бабы весь отпуск мается.
От Советов к туркам ушла кефаль.
А за ней селедка, поди, потянется,
моряку дельфин не подаст руки.
Так у нас немного чего останется —
скорпионы да пауки.

И по дымным амфорам, стенам глиняным
будут ползать твари уже без нас,
потому что мы не на это выбраны
и на землю призваны лишь сейчас,
в миг
меж тем, как запойный фрунзенец
по ночам в подвале пытал дворян,
и когда отряды мокриц и гусениц
Киммерию ссыплют себе в карман.

...Но пока бутылку рука нашарила,
на пустой веранде у лоз сухих
ястребок, один из сынов Израиля,
читает высокопарный стих.

1977

ПУШКИН И ВОРОНЦОВЫ
п о э м а

I

...Магнолий сливочных пудовые цветы.
Гулка кремнистая дорога.
Но если в сторону – цепляются кусты
и колют лядвия поэта-полубога.
Замри и вслушайся!

Он утром здесь бежал
в купальню с полосатым тентом.
Ведь педантичный граф не зря его считал
бездельником и диссидентом.

II

Увы, от страсти нет надежных панацей,
и рококо Парни скрутило все карнизы,
когда колонны войск приветствовал лицей
и графа провожал девичий шепот Лизы.
...Когда с победою отважный генерал
домой вернулся невредимо,
счастливый государь его к себе призвал
и сделал богдыханом Крыма.

III

Громоздкий Аю-Даг и был покрыт леском.
Но рядом две скалы и ласточкины сакли, –
хозяин повелел отдраить их песком
и выстроил дворец, как задники в спектакле.
По склонам выжженным затеял виноград,
стал экономить снег, а то была утечка.
И превратился Крым в роскошный вертоград
из захолустного местечка.

IV

Но знают школьники, что значит саранча
в судьбе великого поэта.
Миледи к завтраку вбежала сгоряча
и встала около буфета.
Невозмутим на вид, но втуне зол, как черт,
наместник посмотрел, хотел задать вопросец,
да призадумался...

Ты жалок, полуlord,
полутатарщина и полный рогоносец!

V

„Купеческий корабль из греческих сторон!” —
внезапно графа извещают.
С подзорною трубой выходим на балкон
и видим: парус убирают
в жемчужном далеке.

Обрадован паяц,
велит свистать наверх, дает прислуге взбучку.
Купальня издали похожа на матрац.
И гений в суете графине стиснул ручку.

VI

Совсем немногое осталось досказать:
графиня родила, тому виной Раевский.
Естественно, скандал не удалось замять,
о нем судачили Мясницкая и Невский.
...В Одессе, где каштан весною свечи льет,
и мальчик по нужде сейчас зашел за кустик,
поставлен памятник.

А Пушкин в свой черед
невдалеке имеет бюстик.

VII

И мы гуляли там! И ты была со мной!
И обезьяний крик зеленого павлина
мешался с отблеском лазури слюдяной,
дремучим сумраком жасмина.

Сквозь вереницу дней несет моя рука,
— никто твоей любви небесной недостоин, —
прощальный поцелуй, подобье мотылька.
Не правда ль, ты одна... ты плачешь... я спокоен.

апрель 1977, Алупка

ТРИПТИХ

I

Риона шум и леса тень,
Плющ, виноград и цвет граната...

Смеются, что земля — корабль для дураков.
Мы пилигримствуем, насмешников егоря.
Тропа спускается с вершин до облаков,
уходит в молоко и тонет в гальке моря.
Благословенный край!

Накрытые столы
под вечно шелестящим вязом.
Но волосы старух белы и тяжелы,
спеленутые черным газом.
С рождения влажные покорные глаза,
там сразу гаснет полыханье.
Оранжевый гранат. Упругая лоза.
Совокупленье и закланье.
Уже промыт тархун и перетерт мускат
с дробленой косточкою сливы.
Баранина нежна. Кацо витиеват.
Снега и звезды терпеливы.
Мужчины заполночь расходятся, кренясь
на гулких лестницах, увитых колкой розой...
И повествует нам седых надгробий вязь,
что панибратский смех всегда чреват угрозой.

II

Кругом лесистые холмы,
Хребты, покрытые снегами..

Здесь Пушкин проскакал однажды в Арзерум,
пронзительно взглянув на красоту грузинки
и вовсе не задев ее смиренных дум...

Петляют горные тропинки,
пугливо прячутся в голубизне травы,
а то овечий холм опутают, как пряжа.
И нужен поворот не глаз, а головы,
чтоб охватить дугу пейзажа.

На рынках ратуют абхазец и мегрел,
громада зелени шумит над Кутаиси.
Но сердце ревностно глядит в иной предел,
где нет ни пропасти, ни выси.
...Немного пасмурно.

И ты теперь одна
меня, быть может, вспоминаешь
и серым камушком с серебряного дна
одна задумчиво играешь.

Давно разграблены алтарь и солея,
и вымыты дождем разбитые окошки...
Мои родимые озерные края,
добыча вологодской мошки!

III

И мне уже определен
Безвестный путь...

На черном поясе серебряный кинжал,
— мечта поручика в опале,
который бы его с усмешкой обнажал,
беря аджуку и ткемали.
Но юношу унес вдогонку за княжной
скакун, растрачивая силы.
А ты остался тут — в Колхиде голубой,
краю, где розы и могилы.
Где телом с женщиной, а сердцем с праотцом,

где жмутся овцы в тесной клети,
и темнотравный склон горит прозрачным льдом
над дымной тучей на рассвете.
...Когда по осени в родимые края
вернусь, покрыт дорожным прахом,
и станет заживо сжиматься жизнь моя,
где радость смешана со страхом,
да вспомянет меня хозяин щедрый твой,
как старцы вспоминают были,
качая весело седою головой
и цепкою рукой держась за ствол бутили.

1977

Эпиграфы из стихотворения Я. П. Полонского „В Имеретии“
(1851 г.).

ЗЕЛЕНИЙ СКЛОН И ЛУГ ГОЛУБОЙ...

Ал. Тихому

Зеленый склон и луг голубой,
— зною все нипочем.
Пугает тень своей худобой.
Закусим, брат, покуда с тобой
кизилом и алычей.
Не из близких мест ты пришел ко мне
в августовский сон — из глухой тюрьмы,
где течет железо в слепом окне,
долог день без света и ночь без тьмы.

...Наезжал в столицу на день, на два
покрутиться в суполке пестрых стад.
Я любил простые твои слова,
ледянную волю и кроткий взгляд.
И когда вдали от имперских мест
я навел шкалу и узнал, что ты
осужден безвинно на пермский крест,
— ты прошел сюда через все посты.

В алычевой чаще блеснул родник,
не таясь под горку бежит кольцом.
Молодея жадно, к нему приник
изможденным серым своим лицом,

словно вокруг тебя не чеченский рай,
не зеленою тенью прикрыт твой лоб,
а спиною слышишь клыкастый лай
и дородной вохры ленивый топ.

15 августа 1977

х х х

Мы будем с тобой перед Богом чисты,
как осени огнепалиющей листы,
где спутан узор червоточин
с ледком травянистым обочин.

И глядя из мрака в Успенскую сень,
мы милости ждем, а не мщенья.
И, может быть, ты только бледная тень
той будущей — после прощенья!

А я уж не кокон, вмещающий ложь,
зимующий в черном стропиле,
а тот, чью ладонь ты с охотой возьмешь
в раскрытой для Чуда могиле.

13 октября 1977

х х х

Над яблочным паем осеннего сада
восходит душистый дымок.
Но птица не бросит прощального взгляда
на наш одинокий порог.

Ужо заблестят огоньки наковален
по белым ноябрьским холмам...
За сходную цену закажет хозяин
железные онучи нам.

Но балуясь, сердце не хочет в темницу,
ему бы еще погулять
и эту последнюю вольную птицу
еще и еще провожать.

Так сядем с тобою колено в колено,
посмотрим друг другу в глаза,
покуда не выплыла наша измена
и живы в душе Образа.

1977

ПРОЩАНИЕ

Мне страшно от мысли,
что ты остаешься одна.
Прости, но исчисли
все образы нашего сна.

Как ивы нависли,
как птицы срывались с рябин.
Мне страшно от мысли,
что я остаюсь не один.

Винцо золотое
и свечи в берлужной ночи.
Все наше родное.
Теснее и жарче шепчи.

Дома и деревья.
Мы словно боялись труда
оставить кочевые
и только подумать — куда?

И вот наступает
давно предвещаемый час.
И жизнь разнимает
и нас отнимает у нас.

И только упруго
ложится прощание в стих:
до встречи, подруга!
До новых скитаний слепых!

октябрь 1977

IV

1978 – 1979

СВОБОДА СЛОВА

ВОСЬМИСТИШИЯ

Павлу

Черные ветви. Плац.
Вьется метель куницей.
Выряжен, как паяц,
русский медведь с косицей.
Тенью пройдя на смотр,
выучку прусских правил,
шепчет Великий Петр:
„Ты рогоносец, Павел!”

Чаща обнажена.
Колются пни и ветки.
Мертвая — не жена.
Лебедь уснул в беседке.
В Гатчине каждый куст
октябрьский ветр окровавил.
Жалобный слышен хруст:
„Ты рогоносец, Павел!”

Людовик и Новиков
мучались от простуды.
Как пропитал альков
запах ночной посуды!
Кажется, палача
тиняется в фортку лапа.
В спальне у рогача
скрипнула дверца шкапа.

Ямы алмазит пыль
возле Эскуриала.
Пален и князь Яшвиль
прячут в плащи сусала.

С нетерпеливых рук
лайковую сметану
тянут: веди гайдук!
Что потрафлять тирану?

„Гатчинский лебедь спит,
как Фридерих пред боем.
Снится, что я убит.
В порфире с красным подбоем
перед Всевышним смог,
пав на одно колено,
крикнуть, что я двурог!
И во дворце измена!”

...Помню тот парк и пруд
в семидесятом году.
Сам я богат, как Брут,
грезами о свободе.
Весь монолит хором,
где поднимали брашна,
чтобы душить потом.
И ничего не страшно.

7.11.1977

НА КАЗНЬ МАЙОРА ГЛЕБОВА

1

Гнезда морозных терний.
Хрустко скрипит слюда.
Знать, из других губерний
кто-то спешит сюда.

Рыбу везут в столицу
из соловецких тонь,
чтобы согрел царицу
свежий жирок с ладонь.

Светится дверь прихода.
Ликов пожух янтарь.
И над крестом колода:
„Се Иудейский Царь.”

2

Сельди во льду и птицы
в черных ветвях в ночи.
В связке императрицы
от погребов ключи.

Много она скопила
снеди из разных мест.
Все государь Петрила
с верфи вернется – съест.

Стекол цветные клетки.
Страстное забытье...
И отрясает ветки
сальное воронье.

3

Месяц горит высоко.
Спит на колу солдат.
Пусто и одиноко.
Нечего делать, брат.

В монастыре Авдотья
срачицу с тела рвет
и на свои угодья
бесам глядеть дает.

Дровни сползают к устью
вдоль ледниковых гряд.
И тишина над Русью.
Это Святые спят.

Наше оконце лилий
гнездами заросло.
Павы слетелись в иней.
Феникс когтит стекло.

Ночи, они как птицы
алчные, любят плоть.
Милая у божницы
пальцы сведи в щепоть.

Перья черны и сизы.
Как задубел — спаси! —
край у небесной ризы
со стороны Руси.

23 февраля 1978

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ КЛЮЕВА († 1937)

1

Олонецких изб громадины
заколочены, глухи.
На резные перекладины
не садятся петухи.

Пролетая над амбарами,
ветер спрашивал, дивясь:
— Сладко ль вам под комиссарами?
А они проснулись:
— Ась?

2

Древо с фениксами красными.
Строк личное полотно,
густо затканное гласными.
То все ясно, то темно...

Десять лет по норам прятался,
бородой зарос до глаз,
к новой власти плохо сватался.
Но пробил последний час:

оспяною лапой Сталина
взята в гибкие места
и зарыта персть крестьянина
без отпева и креста.

Где лежишь, Никола — мученик,
Богоизбранный помор?
Я прожгу слезой горючею
твой заснеженный бугор.

10.1.1978

БЕГ

(С феодосийского пляжа)

1

Моря Черного йод — жжет.
Шелестящая галька спит.
Словно кто-то меня зовет,
не пойму, чего говорит.

Юность в праздности и гульбе.
А теперь летаргия, сон.
И когда подойдут к тебе
пограничники — ты шпион.

Поднимись не спеша. Бей
одного между глаз. Другой
побежит собирать людей.
Константинополь твой.

Карадаг пересох, истлел,
он рассыпчат, как черствый торт.
Улетает, покуда цел,
в феодосийский порт

белый ветер – летучий спрут.
Слышишь крики и вой вдали?
То садится российский люд
на английские корабли.

...Как не вырезали кусок –
непонятно, у нас в кино,
где Высоцкий палит в висок
и со свистом летит на дно?

3

Ия, прежде его жена,
рвет жабо и кричит на всех –
умоляет поднять со дна,
поднимает мужчин на смех.

Но корабль раздирает рев,
начинают стучать винты.
Только чайка, почуя клев,
с высоты

сталью падает и опять
машет крыльями... Правда, жаль?
Да и будет кого клевать
из бегущих от красных вдаль.

4

Войско белое, как сырец.
Врангель звал, да солдат устал.
... „Знаешь, мама, твоих колец
как на солнце горит металл!

Я любил твои руки. Где...”
У Совдепа надежный сыск.
В черноморской густой воде,
если вынырнуть, столько искр!

Так и слышится сходен скрип
и приказ – оставляйте скараб.
Ниже
алчные игры рыб
и похожий на орден краб.

5

Что хрипишь, вороной скакун?
Понимаю, красна вода.
Есть немало в Крыму лагун,
хочешь жить, так скачи туда.

Сквозь тенета, иудин цвет
и молочные облака.
Потому что лежит корнет
в солнцепек на дворе Чека.

Если прежде и снился сон:
тьма в саду... за роялем мать...
То теперь оборвался он.
Разве можно так долго спать?

6

Где давился честной народ,
покидая Отчизну-мать,
потому как двадцатый год,
человеку пора дичать,

— там теперь тишина. День
начинается в шесть утра.
А в одиннадцать надо в тень.
Оседая, шуршит гора.

Все же высится, как Сион.
И локатор-венец — чу!
Потому как погранзаслон.
Как стемнеет, бежать хочу.

28.1.1978

ЗЕМНОЕ ВРЕМЯ

х х х

Россия, ты моя!

И дождь сродни потопу,
и ветер, в октябре сжигающий листы...
В завшивленный барак, распутную Европу
мы унесем мечту о том, какая ты.

Чужим не понята. Оболгана своими

в чреде глухих годин.

Как солнце плавкое в закатном смуглом дыме
буряна и руин,

вот-вот погаснешь ты.

И кто тогда поверит
слезам твоих кликуш?
Слепые, как кроты, наощупь выйдут в двери
останки наших душ.

...Россия, это ты

на папертях кричала,
когда из алтарей сынов везли в Кресты.
В края, куда звезда лучом не доставала,
они ушли с мечтой о том, какая ты.

1978

УТРО

Бурда из ржавого лжекофейника.
Лживавилонского муравейника
густая лава течет в метро.
На каждой вые следы ошейника.
От красной краски горит нутро.

По тупикам переходов — головы:
Дзержинский, Свердлов, Ногин в пенсне.
Везде поют, что живется здорово,
но кто не знает про брешь в мозгах,
когда гордясь олимпийской сборной,
победно дует в пустой кулак?
Но зря, товарищ, в минуту черную
сионцам вешаешь всех собак.

...Пахучи „Правд” и „Известий” полосы.
Броваст антихристов иерей.
И шевелятся от страха волосы
на голове, голове моей.

1978

ПЕРЕДЕЛКИНО

На луковицах петухи
или кресты? Овраг и долы.
Бориса вещие стихи.
Трех сосен слитные верхи,
соцветья, чешуя и смолы.

(Подумать, десять лет тому:
все было кончено. Однако,
еще не знали, что к чему,
и шли, болтая про сурьму
грозы и мыслящих инако.)

Кусок земли, где Сетунь с нить,
где наши старые шакалы
умеют мертвых хоронить.
Где мужикам нельзя не пить,
а бабам — не ворочать шпалы.

1978

ВЕЛИГОЖ

Калитки скрип лицом на Оку.
Уже туман на том берегу,
а тут в саду мужичок кулачит.
Горят червонцы на дранке крыши.
Бежит в меже полевая мышь.
В юродском образе сердце плачет.

Чужой подушки примят кочан.
Крадется сырость на мой топчан,
авось, теплее, когда нас двое.
Вот так, до дна (никого не звать),
еще стаканчик — и сразу спать.
Какое приторное, хмельное!

И все мерещится там, во сне
то жмых от яблок, то гень на дне,
подвал в репье да в трухе стропила.
...Я лоб ко притолке прижимал,
оконце мутное протирал

и видел ту — что меня любила.

.....

За стенкой охает, спит мужик.
Уж слышен петела первый крик,
уж темь рассветная бирюзова...

Все замирает, зовет Господь
— и этот ужас, и эту плоть,
и эту искру живого слова.

3 июня 1978

МАРТЕМЬЯНОВО

Ветра зеленый шквал
ринулся и пропал.
Майская ветка выюжит,
словно опять зима,

и облаков кайма
осеребрилась вчуже.

Точно из погребца,
темный в отлив свинца
голубь в алтарной нише
крыльями зашуршит,
в сумраке зарябит,
вылетит в брешь на крыше.

Пестрый сухой помет.
Змеем сюда ползет
ладан с колхозной сотки.
Местная ребятня
спрашивает огня
и предлагает водки.

Как от гнилья в пруду
или огня в аду
идет мороз по коже...
Сколько уже годин
Ты здесь совсем один,
Нерукотворный Боже!

1978

ВЕЧЕР

1

Там — указал Кирилл.
Елочный горизонт
в блеске вечернем плыл.
Да — сказал Ферапонт.

И песнопенья стай,
что в облаках с весны
— от монастырских свай
до островов Шексны.

Елей, осин, осок
зелень темна, темна.
Послеиольский ток.
Пепельный ворс гумна.

Келарня и казна.
Что на кивот поник,
сноп васильков и льна.
Кроткого Спаса лик.

3

Страшно тебе одной.
Лучше в далекий путь
тихо пойдем с тобой,
так, чтоб тебе на грудь

луч опустился вдруг
в цвет твоего лица,
— не разжимая рук,
верных и без кольца.

4

Ветхую нашу плоть,
всю от ступней до лба,
верю, простит Господь,
только б была мольба.

Ибо в последний час
разве возможен страх?
Скажет: Прощаю вас.
И превратит во прах

5

то, чему должно тлеть,
ибо невместно т а м.
...Сумерек русских медь,
словно припай к стволам,

в узком дупле оса,
синей Шексы прибой,
берег в волнах овса,
— только без нас с тобой.

6

Если закрыть глаза,
вместо ночной зари
„только без нас” — слеза
веки сожжет внутри.

Соль из-под влажных век
крепче сожми в горсти,
словно последний снег.
Только без нас. Прости.

12 июля 1978

УТРОМ, ВЕЧЕРОМ, НОЧЬЮ...

БЛАГОВЕСТ

Из лебяжьего камня Успенский собор,
италийская песня татарам в укор.

Колокольня Ивана дуплом на реку,
где у красных просвирен учась языку,

за гербовою шторой посол англичан
слепнет, видя ее золоченый кочан.

...Далеко-далеко по духовным волнам
растекаться б заутренним колоколам

над запаянной битумом темью жилищ,
уходя за кирпичные трубы Мытищ,

к многоярусным храмам с посадом впритык,
где ленивые голуби мира,
как зловещие тени кремлевских владык
в теремах сергианского клира.

1979

В МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ...

И. Ю.

1

Медовым морозцем любимой роток обметало.
От лисьей папахи еще золотистее стало.

Соцветья сосновые, инея тонкие стружки
и белые тучки, подобные выстрелам пушки.

Лыжня увлажнилась в преддверии блесткого марта.
Поди, погорелый проехал возок Бонапарта,

таска восвояси его горбоносую тушу.
И снег засыпает его корсиканскую душу.

2

В тулупчиках старых с руном вологодским бараным
в лесах подмосковных мы лихо с тобой партизаним:

вспугнем ли сороку, как тощие лисы наследку...
Просыплем снежок ли, схватясь за сосновую ветку...

Пред Богом мороз завсегда за Россию предстатель,
когда подступает к ее деревням неприятель.

Рассол огуречный бочонками хлещут при этом.
И каторжный Федъка палит во француза дуплетом.

1979-

ЛЯВЛИ – 73

Л. К.

Хорошо любовникам архангелогородцам
по снежку скрипучему в Лявлю поспешать.
Густо-перламутровым вяжущим морозцем
наши губы склеило, сразу не разжать.

Руки обожженные в задубелых варежках
не пора ли было нам тогда соединить,
постучать в окошко приходского батюшки,
стекла в колком инее дыханьем затемнить?

Крикнуть: „Здравствуй, батюшка, убиенный красными,
покади погуще по пустым углам.”
Гласами духовными радостными страстными
своды обветшальные отвечали б нам.

Под обрывом ширилась Двина румяным глянцем.
Льдины, словно в сумерки, уходили вспять.
...Архангелогородочка теперь с американцем.
Да и мне уж грешному давно пора бежать.

1979

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ВОКЗАЛ В ПЕТРОГРАДЕ

В О СЬМ И С Т И Ш И Я

Не мирового ль там хаоса
Забормотало колесо?

A. B.

I

Зеленое стекло с коричневым родные,
то ярко светятся, то дотемна густые.
На Невском инеем прихваченный навоз.
На Витебском кричит, отчаясь, паровоз.
И шубке искристой фигура кавалера
чего грассирует, расслышать не берусь.
Недальновидная поклонница-химера,
кончай жеманничать! Назавтра рухнет Русь.

II

Худышку Рубинштейн с дарами рудников,
чей жалобный крестец так вывернул Серов,
что бедному купцу не видно даже сисек,
и то что большевик на этом пламя высек
и отправляется на Витебский вокзал
перекантовывать купоны за границу,
— румяный фараон в одно не увязал,
курируя перрон, похожий на теплицу.

III

Дионисийствует в салоне символист.
Под маской снежною сермяжная Рассея.
На потных жеребцах морозец серебрист.
И жирные самцы висят у Елисея.

...Душистая волна оранжевых волос
так туго стянута подругою на совесть,
что удлиняет ей по-гоголевски нос.
И тянет перечеть таинственную повесть.

IV

Знакомка давняя! Рубцы твоих каверн
едва ли зажили. Зачем тебе Петрополь?
Где выгибается русалочий модерн,
сжимающий в стеблях фрегат или акрополь.
На шкуре медведя я вижу след стопы.
О блюдечко звенит, плескаясь, чацка чаю.
От красноленточной спрессованной толпы
я только побежал... И вдруг тебя встречаю.

23.12.1978

ПЕТРОГРАДСКИЕ СТРОФЫ

Дм. Бобышеву

I

Исакия туша медвежья.
Под тонкою тогой – плеча
горят на ветру Заонежья
родителя и палача.
Мы сироты власти Петровой,
что ласковой кажется нам.
Под стенами крепости новой
навстречу торосам и льдам
он терпит едва на престоле
одряблой кагал татарвы,
все цепче держа на приколе
летучее устье Невы.

2.1.1979

II

От имперских гробниц
до имперских границ,
погляди, пригодились ходули.
А последний шажок
— золотой петушок
квохчет в освобожденном Стамбуле.

Мрамор львовских лепнин.
В закарпатский кармин
окунулись военные птицы.
От морозных борозд
да петропольских звезд
зелено оперенье царицы.

У покоев уют
капитанских кают
отнимает хлыстовская дуля.
И симбирский шакал.
И уральский подвал.
И свинцовая легкая пуля.

3.1.1979

III

Сердце — щелк да щелк.
Борода у щек
на морозе сохнет.
Матросни штычок
прободал бочок.
Гражданин не охнет.

Посвежее весть:
на Шпалерной есть
не бордель — застенок.
Если с пьяных глаз
разменяют нас,
значит за бесценок.

Сургучом чекист
припечатал лист:
смерть надежней срока.
СМЕРТЬ СМЕТЛИВЕЙ НАС
и светлее глаз
Александра Блока.

4.1.1979

IV

Инея верблюжий ворс,
и блокадно спит Исакий.
Подает в застенке морс,
расстегнув шинель, Акакий.

Сколько стало мертвцевов
на пути Советской власти!
У нетопленных дворцов
рококо торчит из пасти.

Зачумлен водопровод.
Баловство — краюшка.
Комариный пулемет
разжирил, как пушка.

Заалел бантами смотр.
Выступит палач.
Что остановился, Петр?
Вскачь. Вскачь. Вскачь.

5.1.1979

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Е. Шварц

Послушно поземку к Петру
несет под копыта коня.
На парусном влажном ветру
ты, может быть, встретишь меня.

Державе держать недосуг
летучего змея границ.
И остыны новых фелюг
с корсетами императриц

заманчиво схожи. Прилип
к зеленому кубку с орлом
румяный детина. Полип
чухонской зимы за окном

в Европу оскалился тут,
когда от радений хлыща
старушечьи букли бегут
с подушек, как мыши пища.

...Где возле ростральных стволов
на стрелке пустая скамья
и парусный ветер свинцов,
— ты, может быть, встретишь меня.

1979

ОЖИДАНИЕ

х х х

Е. III.

В деревьях лапчато

В деревьях лапчато запутались грачи.
Ручьи перекрутились с речью.
И склоны темные, как куличи,
плывут торжественно навстречу.
Сжигает солнышко меня-ленивца и
страну тряпично-красной плоти,
где все под мухою. И только муравьи
честны в египетской работе.

За свистким поездом

За свистким поездом летит зеленый шлейф
к гранитным пирсам Петрограда,
где император ловит кейф,
давя чешуйчатого гада
своим копытом. И Нептун
в еще последней снежной пене
глядит не на оснастку шхун
— а вслед петропольской Елене.

И веет Балтикой

Крупица Божия боится грубых рук.
Она нежна, хоть голос низок.
И веет Балтикой, когда беру
конверты от ее волнующих записок.
Комочек бытия, завернутый в наждак
пространства, названного Русью,
ему противится. А мы не можем так.
Нас тащит к собственному устью.

И все мерещится

И все мерещится то яма, то барак
с плюгавым уркой одесную.
И каждый раз трудней бывает сделать шаг
в словесность чистую простую...
Не башню стройную за клетью клеть
я смело возвожу к руинам —
все громче хочется анафему пропеть
и показать кулак рубинам.

Когда б не ведали

...Когда б не ведали, что впереди
у старого грача и драгоценной птахи,
я б ожил у твоей боязненной груди,
где гений, и мечты, и страхи.
И выдубив сердца у финских берегов,
мы ехали б в Москву на царство,
где мстя любовникам за сорок сороков,
все диссидентское боярство

В направлении Польши

там прахом наших тел салютовало бы,
примерно, в направлены Польши,
чтобы преемники просили у судьбы
чего попроще и подольше.
Но не своим горбом, а из твоих стихов
о темных метинах на чутком теле
известно мне, — подобии следов
по бесам пущенной шрапнели.

Еще и осенью

Весной пахучею, как ладан и ваниль,
зимой, сжимающей запястье,
в страду июльскую, глотая соль и пыль,
или в прозрачное ненастье

— еще и осенью я буду вспоминать,
жалея клен и облениху,
вдыхавшую хмелек в латинскую тетрадь,
ту — с низким голосом — подругу соловых

1 – 3 апреля 1979

ЭЛЕГИЯ

...Где милая рука, от родинок рябая,
берет стакан с винцом,
где пудель давится от ласкового лая,
и сигаретный дым кольцом

(Я в сизой комнате и не хочу в другую.
В два ночи голубей восток.
Я вижу левую, от родинок рябую,
такую же правую, и хриплый шепоток

со мною делится молчанием и словом
о страшном и простом.
Я, верно, не найду ни сна под этим кровом,
ни губ, запекшихся при том.)

— до этих мест семьсот
верст — и почти все лесом.
И мне, как школьнику неправильный ответ,
то снится поездов летучее железо,
то все счастливое, чего вспомине нет.

12 июня 1979

х х х

Душный ветер на полустанках,
пыль на детях, на дядьках рвань.
Мазутный дождь в желобках и ранках
шпал, чья еще деревянна грань.
Иван-чай, шумящий в непоправимый
вечер у топляков Шексны.

Покаянно-злой шепоток любимой.
Наши с ней и чужие сны.

По любви и боль во хмельном угаре.
Покидаемый марининский сруб.
...Вместе выбранный на базаре
темный персик за круглый рубль
надкусила нежно, почти нетленно,
и вернула мне уже в третий раз.
С краснотцою мякоть одновременно
приторна и горька для нас.

После этих празднеств все будет пресно,
к очагу тебе ли, ли мне в вертеп...
Лебединая горловая песня
разминующихся судеб.

23.7.1979

x x x

I

Черный лебедь сухо шуршит крылом,
окунает клюв в патриарший ил.
Мне сегодня страшно — и поделом.
Не скажу, чтоб сильно тебя любил,
но чего-то медлится на скамье.
В десяти минутах ходьбы — Арбат,
где когда-то пили пивко в фойе
до начала сеанса сестра и брат.
А чего смотрели? По чьей вине?
Не припомню, да и тогда не знал.
Никого вокруг. Лишь откуда не-
известно взявшийся генерал
бычью шею мнет пятерней — озяб
и идет в ворота к себе домой,
представляя, верно, что там генштаб,
где дурные сводки лежат горой.

... Никогда уже в пестроватый ворс
твоего жакета не ткнуться лбом.
На заросший ровной травой откос
вышел лебедь, черным шурша крылом.

14.8.1979

II

...Я один пройду меж кусковских пихт
на голландский пруд сквозь сырой туман
Будет мне о чем расспросить у них
в октябре, топыря вином карман.
Вновь увижу рамы барочной крем
и графини с круглым брюшком халат...
Я сжимал здесь руку Елены М.
лет пятнадцать с лишком тому назад
в год, когда почти пустовал престол,
толковали что-то про новый нэп,
хоть и было видно: король-то гол.
Нет в земле родимой надежных скреп.
Вот и вспомнил — челку, тугой платок
и холщевый крепкий ремень сумы...
Но когда студенческий наш урок
 оборвался, редко встречались мы.
А когда и встретимся — что с того?
Посудачим, не возвращаясь вспять.
Но ведь было что-то у моего
сердца? Кто теперь может знать...

Потому и сутолки похорон
я не видел и не спешу туда,
где в высоких терниях грай ворон
над всего однажды сказавшей „да.”

13.8.1979

ЭТЮД

...Вернемся на стрелку ко львам
на темный от листьев Елагин,
когда колыхаются там
лоскутные пестрые флаги

ПАМЯТИ КОНСТАНТИНА БАТЮШКОВА

На Родину, в сей терем древний
Б.

I

Гейлесбергский герой, итальянский младенец
под прилуцким снежком.
Меж раскисших лаптей и резных полотенец
треуголка его пирожком
не казалась ли странной, спросить по секрету,
или не замечал,
прозревая под тиной пахучею — Лету
и всходя на причал?
По сравнению с этим, и на поединке
говорят по душам.
Хоть зачесывал волосы все по старинке
от затылка к вискам,
но, должно быть, не зря при скончании века
золотого, досуг
коротая в мольбе, словно Вологда — Мекка,
вспоминал он роскошного Мельхиседека
у медвежьих лачуг.
Ибо солнце пурпурово, небо имбирно
при рассветной косьбе.
Ибо темным червям и на севере жирно.
Ибо наша словесная вязь неотмирна
и сама по себе.

II

Столько переплелось
снов и судеб, что даже
если б и не нашлось
что, то об этой краже
не горевал бы я
— и без того довольно.
Родина ты моя
вольно или не вольно.

Где с требухой пирог
царь завернул в газету,
точно единорог,
бриг уплывает в Лету,
падает стружка в гать,
не утолив печали.
Это ли благодать
та, о какой мечтали?

.....

Хоть под землей лежит
множество порещенных
и обернулся скит
домом умалищенных,
хоть упаду и сам,
будто единоличник
в больше ненужный хлам,
в кислый Шекспри брусничник,

все же пока несут
ноги и горла дышат,
может быть нас спасут
те – кто об этом слышат.
Кто возводил сей дом,
ставил кресты на главы
и пересохшим ртом
пел ради Божьей славы.

III

От иван-чая в глазах лилово
у маринских глухих куртин,
словно земля зазывает снова
Батюшкова: Константин! Константин!

Но с виноградников южной речи
он, и не спятив, вернулся б сам
в Вологду, чьи баснословны плечи
и сарафанней открыты нам.

Так не надейся, что все пропали,
те, кого доводилось знать,
и не пиши, чтобы впредь не ждали:
алчные, не перестанем ждать.

Ибо у русских одна дорога —
к дому — как курицы на насест.
Ты, Шексна, или ты, Молога...
И никого, кроме нас, окрест.

Тиной пахучей цветет канава
с бревнами шлюза — вот водопой.
Неотменяемо крепостное право
с л о в а над пятящейся душой.

1979

13 АВГУСТА

Голубиная линька. Голубизна.
Лип неспелая желтизна,
заметная не для всяких глаз
среди бела дня на медовой Спас.

Тянет густо настланною травой
и цветами розовыми с могил,
словно зов за зовом: иди домой!
Темнолиц Никола, а Михаил

властно держит за рукоять огонь.
Но куда пойду из родимых мест?
Лучше губы в маленькую ладонь
я уtkну одной из земных невест.

Мол, прости, родимая, грешный скарб
за моей спиной. В череде седмиц
скоро листья высушит йод-загар
и погонит к югу крылатых птиц.

И когда срастутся у нас сердца,
так что будем зрячи, глаза закрыв,
ветер слепки снимет у нас с лица,
не одну слезу по пути пролив,

— вместе тихо-тихо вернемся вспять
по снежку, рожденному в этот день,
в храм Николы, чувствуя благодать,
пред которой каменная ступень.

1979

СОДЕРЖАНИЕ

1967 – 1971

НЕБЕСНАЯ ПРОГУЛКА

,,Прощай дорогая, настала пора расставанья” 7

ДАФНИС И ХЛОЯ

,,Вчера ты мылся у ручья” 8
,,Львинолицый Зевс-отец!” 8
,,Все твердью полнится – но все живет водой” 9
,,Лоб собрав в морщины важные” 10
,,Последняя звезда в зените побледнела” 10

СЕМИДЕСЯТОЕ ВРЕМЯ

Мари 11
Братья 12
Осень (триптих) 14
Цирк 15
Октябрь 16
Вакхические мотивы 16
,,Славянизмы, звуки и красоты” 18
Вчерашний день провел в гульбе... 18
Утро 19
Потемкин, Зубов и Орлов 20
,,Крыжовника кленовые листочки” 22
,,Бабье лето за оградой” 22
Страшный сон 23
Первый снег в садах под Ленинградом 25
,,Нервы сдали, а глаза” 28
Анна Петровна 29
,,Не смущай напрасно душу” 29
Подвижник 30
Сумерки 31
Велимир 31

ЧАША

Тайна 33
Письмо 33
Ночь в Останкино 34
Дни Элен Грабуа 35
Заколдованный дом 38

1972 – 1975

ЮГ И СЕВЕР

- Крымский дневник 41
Северные мотивы 44
Из цикла *Этические картины*
 (Прощание игумена Филиппа) 47
Евфросин 48
Канун Антихриста – 1666 (столбцы) 49
На Малом Заяцком 51

ВЕСНА ОСЕННЯЯ

- Другу 52
Масоны (диптих) 52
На выставке 54
Ленинград в июне... 55
Октябрь – 74 55
Мимолетное 56
„Ни воску теплого, ни камушки, ни смол” 57

РАЗРОЗНЕНОЕ

- Из цикла *Северная Пальмира* 58
„Голубая косилка при входе” 60
Кречет 61
Примитив 61
Старик 62

1976 – 1977

ИНЕЙ

- Архангельское 65
Элегия 65
У Никитских 66
„Подумать, сколько было вложено” 67
Пробуждение 68

PATRIOTICA

- Два стихотворения („Решено. А что решено?”) 69
В Петрограде 70
Ночью 72
Романс 73
Вариация (на закате) 74

ПУТЕШЕСТВИЕ

- Памяти Джона Китса 75
Киммерийская сага 76
Пушкин и Воронцовы (поэма) 77
Триптих 79
Зеленый склон и луг голубой... 81
„Мы будем с тобой перед Богом чисты” 82
„Над яблочным паем осеннего сада” 82
Прощание 83

1978 – 1979

СВОБОДА СЛОВА

- Восьмишия 87
На казнь майора Глебова 88
Памяти Николая Клюева 90
Бег (С феодосийского пляжа) 91

ЗЕМНОЕ ВРЕМЯ

- „Россия, ты моя! И дождь сродни потопу” 95
Утро 95
Переделкино 96
Велигож 97
Мартемьяново 97
Вечер 98

УТРОМ, ВЕЧЕРОМ, НОЧЬЮ...

- Благовест 101
В морозный день 101
Лявля – 73 102
Царскосельский вокзал в Петрограде 103
Петроградские строфы 104
Петербургская элегия 106

ОЖИДАНИЕ

- „В деревьях лапчато” 108
Элегия 110
„Душный ветер на полустанках” 110
„Черный лебедь сухо шуршит крылом” 111
Этюд 112
Памяти Константина Батюшкова 113
13 августа 115

Любовная лирика и Россия — вот две основных стихии, темы, начала, слитые в поэзии ЮРИЯ КУБЛНОВСКОГО в единый и органичный сплав. Правда, по мере чтения сборника возникает ощущение, что начала эти не совсем равноправны, что чувство к возлюбленной ни в один момент не может сравниться по силе и глубине с его чувством к России. Поэт любит Россию не как мечтатель, увлеченный абстрактной идеей; и не как псевдопатриот — чтобы было чем чваниться перед чужаками; а так, как можно любить родной дом — весь, целик м, с темными подвалами и светлыми комнатами, с грязью и свежестью, с холодными сквозняками и теплыми печами, который знаешь до последних мелочей — в пространстве (от Соловков до Карадага) и времени (от Киевско-Сузdalской старины до Петербурга Пушкина и Москвы Пастернака).

К сожалению, до сих пор эта история любви без взаимности — стихи КУБЛНОВСКОГО (родился в 1947, г. Рыбинск) в России не публикуются. Он окончил искусствоведческое отделение истфака Московского университета, но после того, как в 1976 году в зарубежной прессе было опубликовано его открытое письмо „Ко всем нам” (к двухлетию высылки Солженицына), лишился возможности работать по профессии и служил сторожем в подмосковном храме. Стихи его появлялись в „Вестнике РХД”, „Континенте”, альманахе „Метрополь” и других зарубежных изданиях. Предлагаемый читателю сборник подготовлен к печати Иосифом Бродским и включает в себя стихи, написанные, главным образом, в 1970-е годы.